

Ефим СОРОКИН

г. Пенза

1



МОЛИТВА ЗА АДОЛЬФА

повесть

На белом снегу толпились попы, насильно обритые и остриженные, обтрёпанные в травлях... И писака с ними... на монгола похож... Ну и народец подобрали! Тебе про фраеров железных писать надо, а не... Кто про фраеров железных пишет, здесь не сидит! Враг народа, твою мать! Дешёвки! никого гнуть не надо... У одного попа челюсть отвисла от радости, глаза счастливые, дыхание в зобу спёрло... сказать ничего не может, совсем крыша у попа съехала! Тебе что, срок скостили? чему радуешься? На лёгкую работу временно переводят, а ты уже возмнил что-то! Смотрит, будто... чуть ли не ровня мне! Да я ср... с тобой рядом не сяду! Ты, ё-моё, у параша, на вонючих досках, весь срок спишь... У меня башка помутилась от злости! Против тебя и ссоры искать не надо! А он ещё вопросы задаёт! Не твоё сучье дело! Куда поведут, туда и пойдёшь! Я голос не повысил, объясняя этой жалкой заднице, что он — жалкая задница. И на ногу ему наступил. Только он боли не почувствовал: должно быть, цирлы давно отморозил. Я ему тихо объяснял, что он из себя представляет, а он не хотел понимать, только кивал, кивал, кивал... Кивал, а не слушал, будто я для фортецелла язык свой утруждал... Даже ещё какое-то достоинство пытался держать в себе! Я уже на шум перешёл... чувствую, что накаляюсь... злость унять не могу... Перед глазами всё поплыло, затанцевало, а поп всё кивает, кивает... Да ещё показалось мне, что все попы тоже довольны, что их просеку вырубать отрядили... на работу бесконвойную... довольны, что меня десятником над ними поставили. И на них начинал литься! Но ещё не очень... Зыркнул на них — угловатые пачки свои опустили. Здесь у всех угловатые пачки... а на этот, что рядом стоит... ё! с трудом сдерживался! а он ещё что-то ляпнул... Тут я слетел с тормоза и уверенно коротко вдарил в шнобелёк его обмороженный... несильно, но со зlobой! Ваши не пляшут! Красная жижица закапала из поповской носопырки... поп беззащитно улыбался. Другие перестали весело переминаться... То-то же, водолазы вшивые!

— Вот так, сучьи дети! — сказал я почти спокойно. — Знайте своё место!

Тут дежурный надзиратель явился. Что ты! Что за шум, вроде того... Сам квадратный, в белом ту-

лупчике, щёки налитые, точно яблоки, того и гляди треснут... Чувырло братское! Какой шум? Нет никакого шума! Всё тихо, как на кладбище! Надзиратель хмурится, глядя на попа с разбитым шнобельком. Поп хрюкает, отворачивается. Овчинный тулупчик на вертухае новенький... не терпится обновить! погарцевать в новом овчинном тулупчике... белом... Гнида! Молитву мне читает, как и что... И чтобы не вздумали...

— А куда мы на хрен денемся? — улыбаюсь я дежурному надзирателю, в болвана играю, будто ломом подпоясанный, а самого уже злость распирает.

— Правильно! Никуда вы на хрен не денетесь! — смеётся в ответ дежурный надзиратель. А моей злости выхода нет! А сам киваю на его слова, киваю... — Не думайте, что вы — умники! Норму выполнять не будете, снова в забой отправлю! — Мне посошок с зарубками отдаёт, объясняет, как мерить. А то я без его наколок не соображу! И хрен ли там мерить? Всё равно норму не выполнить! Всё для фортецелла! Киваю я на слова вертухая, а сам думаю... Где-нибудь ещё встречу тебя, плевков грязный! на воле... И тут уже целая картина разворачивается... в кабаке каком-нибудь... найду гниду! Ты у меня ноги унести не успеешь! не надейся! Шум и гам! Бабы визжат!.. а он изворотливо пробирается к выходу... Коммунизм надо строить, а не по кабакам шляться. На улицу выбирается, гнида!.. по тротуару... И тут кто-то из темноты... ногой по нему приложился, по вертухаю, стало быть... Этот кто-то — я, понятно... Не то чтобы лафа от мыслей таких, но злость как бы поубавилась... — Получить на руки десятидневный паёк! — командует вертухай, а я слушаю и киваю. Тут моя поповня оживилась, окончательно поверили, что их на бесконвойный труд отправляют — снова весело запереминались. И этот, с разбитой носопышкой, тоже оживился. Но тут на мой взгляд наткнулся и радость свою спрятал, мешок пуганый! Кровь ещё капает, а он радуется уже! Во народец! Чему радуешься, косою? Работе радуются! Воспитали вас коммуняки... Передохнете вы все от неё, от работы этой... и без неё передохнете!

— Пошли пайки получать! — дал я команду, и

попы в мешковатых рваных фуфайках, в серых суконных ушанках поплелись к складу.

* * *

Один поп подох на другой день. Я сразу просёк, что он доходяга, — поставил на работу лёгкую: ветки обрубать. Он только раз топором взмахнул и полетел в сосновые лапы... головой в снег уткнулся...

Я привёз жмурика на салазках в лагерь. Доложил, что поп копыта отбросил, замену попросил. — ... а то норму не выполним, — хмуро сказал я, изображая заботу. Понятно, в болвана играл, будто ломом подпоясанный. Дежурил тот же квадратный надзиратель в овчинном тулупчике с маленькими, будто весёлыми, глазами.

— А куда вы на хрен денетесь? — Знает, гнида, что я звонком откинуться должен. Знает, что духариться не буду. Я уже злился на это самодовольное г... И мысленно казнил его. Не сейчас! Там, на воле... Даже представил, как этот квадрат блоёт на свой новенький белый тулупчик...

Перед тем как колёса на просеку катить, в барак заглянул. Уже не злой зашёл. Не помню, за каким хреном... На работы не всех выгнали. Да разве всех выгонишь? Наши в карты на нарах режутся. После шмона последнего в бараке карт не было. Нарисовали, значит... Чем? Моя чертилка химическая... кирдык!

— Босяк! — кличу. Босяк голоса не дал. Что за ё?! Опять во мне злость проснулась... Но слышу: слезает Босяк с нар, не гомонится... Лепётками на меня брызгает, не поймёт, для чего я его от игры оторвал.

— Карты кто рисовал?

— Я! — не без гордости.

— Чертилку где взял?

— Письмо пришло... — уже не очень уверенно, потому как уловил во мне злость. — ... деревянное...

— Деревянное? — Я от злости глаза сузил. — У меня сковырнул?

— Синенький, ты чо? Я бы не посмею...

Я врубил — Босяк на бульвар откинулся. Квак клюквенный тут же из носопырки хлынул. Босяк голову приподнял. Маленькие холодные брызги смотрят зло. Ботва белесая на тыкве

ощетинилась. Я уже искры метал! Злость его моей злости не понравилась. Нагнулся к Босяку и — в штифт ему! ещё раз! ещё! Добыл Босяк из меня огня! Поганку со мной крутить взду- мал?! Я разогнулся.

— Чертилку! — потребовал и хапугу раскрыл. Босяк торопливо в карман штанов полез. В брызгах у него всё гоношение погасло. Положил в мою клешню огрызок. Это был не мой огрызок. Мой был намного короче. Я выругался. Бросил Босяку его огрызок и вышел. Весь день не в масть! Всё не в цвет! У будки — вояка. Рядом колокольчик сидит... Мимо проходил, на меня бросился... Не гавкая, падла! Едва успел клешню убрать... клыки клацнули... Отравлю, падла! Вояка поводок укоротил... Салазки за собой пустые везу, как... ё-моё! Тошно! От своей злости тошно! Сердце от злости заломило. Снег копытил и злился. А салазки всё на пятки норовили наехать.

К избёнке угрюмый подхожу. Света в окошке нет. Что за блинский? И буржуйка не топлена... Пил не слышно, топора не слышно, брёвна не гремят... Подозрительно тихо! Печку топлю, а сам на попов злюсь. Зло берёт! Вдруг дошло: молятся они!!! Ох, как я был обозлён! Погнала меня злость на просеку. Ночная балда уже на небе светит — светло. Звёзды блещут, блин! Ярые... Куда иду? И надо мне это? А поспешаю. Злость подгоняет. А до просеки... До хрена до просеки будет, а я уже все копыта отбил за день! Местность пересечённая... холмы с крутыми склонами... Смотрю, а между холмами — свет. Внизу кто-то костёр развёл... как пионеры... гигантский костёр... а зачем? И следы вот их! Надо же, как по насту прошли! Ни разу не проломил... А сам проваливаюсь то одной ногой, то другой. И злюсь от этого! Наст совсем перестал держать...

— Доберусь до вас — поубиваю, водолазы вшивые! — свирепел я. — Совсем отощали, сучьи дети! Придушу собственными... — И провалился по самые яйца. Выбираюсь, матерюсь... К холму прижался, дышу тяжело... Сердце ни в ..., ни в Красную Армию! Известняк рукой глажу... гладкий известняк... только холодный... Отдышался и пошёл по уступу. И вдруг слышу голоса. Даже не голоса, а песню, даже не песню, а молитву... Явственно услышал: «Господи, помилуй!...» Холм обогнул и обомлел... Лес внизу

за холмом почти прозрачный. Среди костров — попы. И писака с ними. От увиденного даже злость улетучилась. Внизу — что-то несообразное! Мать моя — ведьма! да они службу служат! Вот ё! Прямо в фуфайках... среди леса... без храма служат! В поваленной сосне вырубили площадку... Это у них, стало быть, Престол... А рядом — пнище... пилой подравняли. Это у них, стало быть, Жертвенник... Или наоборот? А белые ризы прямо на фуфайки надеты. Из простыней, должно быть! Ха! Вот Божьи одуванчики! Рыбы гнилые! Простыни — покупка дармовая! И уже мысли у меня без злости... даже с уважением к косым. Выгорело у них дело! А над холмами разносилось песнопение. Костры горели приветливо. Я сделал робкую попытку приблизиться. Уже почувствовал, что мои тут не пляшут... Глядь, а на белых ризах из простыней — кресты! Они и должны там быть... на ризах. Только кресты эти химической чертилкой нарисованы. Вот ё! Вот водолазы! И чертилку мою химическую прикарманили! Людям карты рисовать нечем... Я уже не злился на попов. А если и была во мне злость, то какая-то повеселевшая... Тот, которому я вчера шнобель расквасил, заговорил... вроде как проповедь... Он у них на службе шишку держал. Все ему кланялись. Два слова скажут и — поклон...

— ... как пишет в своих трудах святитель Игнатий Брянчанинов, мы уже привыкли к тому, что смертный снег тает и природа оживает. Если бы ветви деревьев и трава могли говорить, они сказали бы нам: «Весной мы зацветём». И мы поверили бы и ветвям, и траве, потому что привыкли к воскрешению природы. Так и кости упокойников, если бы могли говорить, они сказали бы нам: «Мы оживём». И мы сказали бы им: «Верим!»

Надо же! И какая-то мудрость появилась в поповской вывеске, будто косою всё знает об этой жизни. Вальтануться можно! Буквоеды, блин!

Сейчас, по прошествии стольких лет, мне трудно объяснить, почему я подошёл к Причастию... Я сбежал с холма по снежному насту, сложил на груди неопытные руки и встал перед священником с Чашей. Все выжидающе смотрели на меня.

— Надо исповедаться, — сказал поп с Чашей, тот, которому я накануне расквасил нос.

— У меня нет грехов, — выпалил я.

— Так не бывает, — сказал поп с Чашей. — Только Господь без греха.

— Злость, — выпалил я.

— Что — злость?

— Злой я! Злость меня съедает! Самому тошно! — выпалил и почувствовал, что вокруг все как бы обрадовались, что я грех свой обозначил. Вроде как все довольно перемигнулись... Подошёл ко мне другой поп, накрыл своим белым фартуком, голову пригнул мою, молитву прочитал и перекрестил через фартук. Потом рукой указал: мол, подходи к Чаше.

— Только будь осторожен! С Причастием в Иуду сатана вошёл.

— Я — не Иуда, — сказал я. Поп переменял мне руки на груди: правую положил на левую. И меня причастили. Потом приложился к деревянному кресту. Занозка у меня осталась в верхней губе от креста этого...

Было уже далеко за полночь, когда мы вернулись в промёрзшую избёнку. Попы шли со службы как-то торжественно... Затопили буржуйку и улеглись.

— За эту Литургию, — услышал я сквозь дремоту голос писаки, — вас, батюшки, расстрелять могут, а нам с Синеньким лет по пять добавить...

Вот как забазарил, — вяло и сонно думалось мне, — «Нам с Синеньким...» Я про себя пригрозил писаке и стал проваливаться в сон.

— Синенький, а тебе никогда в ... бывать не приходилось? — вдруг спросил поп, который причащал меня... Вот ё! Что они о себе возомнили? Причастил — и теперь на равных со мной разговаривать вздумал? Но как-то я без злости об этом подумал... Утром разберёмся, утром... Утром устрою вам бесконвойную работу! мало не покажется! Всё же ответил попу:

— Нет, не приходилось...

Поп никак не уймётся — опять заботал:

— В тех местах старец есть... человек святой жизни... отец Уар...

— Не слышал, — ответил я, раздумывая, правильно ли я делаю, что позволяю попу разговаривать с собой чуть ли не на равных.

— Может, доведётся тебе, Синенький, свидеться с отцом Уаром...

— Это вряд ли! Я по вашим катакомбам лазить не собираюсь!

— Воля Божья.

— Я в этой жизни только на себя рассчитываю!
— Позиция ясная, только место её весьма обрывисто.

Я уже хотел заткнуть попа, но передумал... Утром... Утром... А поп никак не угомонится:

— ... мне довелось побывать у отца Уара на Лахом-озере. Беседовали с ним достаточно долго на пользу души. И вообще — о жизни. Отец Уар о сыне своём сокрушался... Родился, говорит, у нас с матушкой сынишка — плохенький, хворый, синенький весь... Думали, не жилец! Я его, говорит, сразу покрестил. Сорока дён не дождался. А мальчонка выжил. Сообразительный такой мальчонка, умненький, только сердечком маялся. Лицо бледное, с синевой. Мать и та, говорит, звала его Синеньким... ласково... Когда за попом и попадъёй чекисты пришли, мать всё шептала Синенькому фамилию, чтобы запомнил... Родителей не помнишь?

— Нет... Смутно что-то... Нет, почти ничего... — И тон у меня какой-то доверительный... самому странно...

— Когда отца Уара забирали, сынишке его пятый год миновал... Похож ты на отца Уара, Синенький! Волосы тебе отпустить и бороду — одно лицо. И возраст подходящий...

Я не знал, как отозваться на слова попа, но базар спокойно держу:

— Дай поспать! Вон со своими губой шлёпай, если не спится.

— Я тебе сказал — ты думай... Скоро освободишься... может, батюшка Уар — отец твой...

— Считаю, что я онемел от благодарности!

Попы стали базарить о своём, что-то про декларацию митрополита Сергия... Досталось митрополиту! Во, водолазы! а сами учат никого не осуждать!

— ...он для ада карьеру делает...

— ...своей декларацией всех верующих чекистам сдал! Говорит, Церковь спасает... Ну, пусть в двадцать седьмом ещё так думал, но сейчас-то! когда почти всех уничтожили...

— А вот если допустить, — сказал поп, что меня фартуком накрывал, — если допустить... Ну, чудо вдру! И скажут: кто согласен служить под митрополитом Сергием Страгородским и почитать его как канонического главу Церкви, выходите на волю! И служите!!! Вот где искушение будет!

Не каждый устоит! Далеко не каждый...

— Не будет никогда такого! Причудничаете, ба-
тюшка! — подал голос писака.

— У Господа нет ничего невозможного, — ска-
зал поп, который причащал меня.

— Не каждый устоит! Далеко не каждый! — пов-
торил поп, который меня фартуком накрывал. —
Далеко не каждый...

Их базара я не понимал... Мне вспомнилось,
детдомовская училка говорила: «Ты почему, Ва-
ня, знак переноса с двумя чёрточками пишешь?
Должна быть только одна чёрточка... — А я отку-
да-то знаю, что двумя чёрточками перенос обоз-
начается. Уже учил кто-то, но — кто? Как серпом
срезало! — Это раньше, в церковных книгах, —
ласково говорила училка, — перенос двумя чёр-
точками писали... Это неправильно!»

Утром брызги свои открыл, попы уже не
спят, сгрудились вокруг буржуйки. Писака
посс... вышел, я — за ним. Он настроение моё
чувствует и поглядывает в мою сторону насто-
роженно. Рассматриваю писаку скупающе-
высокомерно. Напомнил ему:

— Ты что-то губой шлёпал: вроде как срок с
тобой новый тянуть должны... На бога взять
хочешь?

Писака не знает, что в ответ брякнуть — пере-
минается. Снег скрипит под ним. Писака — че-
ловек не ветошный, но под прямодушного стал
косить:

— Когда говорил, меньше всего о тебе думал...

Я уже внутри кипячусь. Писака чувствует, что
удар готовится и силы копятая, чтобы удар этот
был сильным и, главное, точным. И миг удара
приближается, неспешно и неотвратимо.

— Если бы... — начал было писака, застёгивая
ширинку, а я ему резко в штифт дал. Писака —
с копыт. Рылом угодил прямо в то место, где
мочой своей снег разрисовал. Движок у меня в
груди тут же разболтался. Отошёл к избёнке.
Дыхание спёрло. За стену бревенчатую дер-
жусь... Поплыло перед глазами... Попы внутри
избы бубнят о чём-то... Стало совсем хреново,
даже злость испарилась... Не до неё... Дышать,
блин, нечем... Писака чистым снегом утирает-
ся, сопит. Щёки его монгольские дёргаются.
Писака в избёнку зашёл... Говор стих сразу. Я
варежкой морозный воздух хватаю, а нады-
шаться не могу. Плывёт всё. Два пятна перед

глазами плавают... Бледно-жёлтое и бледно-
красное... Писака после себя оставил. Сам не
рад, что писаку так спозаранил... Отпустило,
блин! Раздышался... В брызгах чёткость восста-
новилась... В избёнку зашёл, бросил:

— Быстрее хавайте! Норму Пушкин выполнять
будет? Балда уже над холмами! — И начальствен-
ным жестом указал на дверь. Попы лихорадочно
засобирались. Дожёвывали на ходу.

Когда все ушли, на клюв себе кинул. Жратва
укротила озверевший дух. Занозка в верхней
губе начинала ныть. Ночной базар поповский
меня озадачил. Соображения мои по этому
поводу оставались весьма неуклюжими. Из-за
холма выглянула балда, и в избёнке стало свет-
лее, заметно светлее.

2

Место действия повести переносится далеко
на северо-запад русских земель. Понятно,
и персонажи меняются. Я, понятно, остаюсь, но
писать буду от третьего лица. Распознать меня
будет несложно, но сам я порой себя не узнаю.
Понятно, меняется и время действия. Прошло,
скажем, года два после моего освобождения. Са-
мый канун войны с Германией... «Малина» на
краю станционного посёлка. Хозяйка притона —
крупногабаритная баба по кличке Жопа, кото-
рую в повести я буду называть Валторной. Ну,
чтобы покультурнее звучало... У интеллигентов
вшивых пельмени сворачиваются от таких слов.

Накурено... Невмоготу накурено! Дышать
трудно! Гриша уже с час — валежник. Дрыхнет
прямо за столом. Елдачил-елдачил про мельни-
цу, которую заколхозили... про рысака в ябло-
ках... звякало разнудал, скулёж поднял. Серожа
подначивал Гришу наутро Синенького с собой
взять... Серожа — белорус, он сам себя называет
Серожа, через «о», и все его называют Серожа,
через «о». Старец, которого Синенький вяло ис-
кал, прожил неподалёку от Гришиной дерев-
ни, неподалёку от Ершовки. Синенький подпи-
сался, что наутро поедет с Гришей. Кардан Гри-
ше пожал... Отца найти решил? Нет там никако-
го отца! Старец, может, и есть, но вряд ли он —
отец... Солнце в мешке! Но свыкся Синенький с
этой думкой... Пусть она будет... Пока... а там

видно будет. Думка жрать не просит, а с ней чуть потеплее живётся. Но, похоже, думке конец приходит. Или Уар — отец, или... Ещё неизвестно, что лучше. Такие мысли сновали в голове у Синенького. Накурено! Невмоготу накурено! Дышать трудно! Серожа гармонь рвёт, а Валторна хлопает и смеётся. Пир продолжается! С жареным мясом, а мясо с кровью. Пожирали мясо с кровью, растлевались злой беседой. Холодец в глубоких тарелках дрожит, в бутылках — жёлтый первач... Душа не требует... кишку набили... Серожа в грусть потянуло, а Валторна хлопает и смеётся, не слушает, что Серожа поёт. Пьяная уже! Думает, Серожа веселится. Захлёбывается Валторна от смеха... А Серожа уже в дым пьяный. И Синенький — в дым, но ещё не совсем. Ещё соображает, что ему с Валторной переспать надо... без этого он не отключится... У Серожи щека уже на гармошке, а Валторна толкает его в плечо, орёт что-то, требует продолжения весёлки... Совсем свихнулась! Сыграй, Серожа! Серожа не может, сморило его... Валторна повисла у Синенького на гриве. Брызги её радостно смотрят на Синенького, будто она ждала его все эти годы, когда он на нарах пыхтел. И Синенькому хочется верить, что она ждала его. Ах, Валторна! И лобик у тебя маленький, и челюсть тяжёлая — без слёз не взглянешь! Одно в тебе хорошо! Потому тебя Валторной и прозвали... И шея белая, полная... Валторна Синенького глазами вылизывает, а Синенький смотрит на неё ненасытно... Да чо сидим? Синенький и Валторна ещё выпивают и идут за печку... Тут, за занавеской, Ташкент... И койка ждёт... с шариками... железными... Валторна липнет к Синенькому, отдаётся с бессовестным откровением... Серожа гармошку уронил... Бетховен, блин! Простонала гармонь мехами... Серожа будкой своей о стол ударился... Синенький дышит тяжело, отдыхает... Руку с Валторны не снимает... Гладкая кожа! атласная! — хочет дать определение Синенький, но чувствует: слабовато определение. В окно ночная балда светит... От близости Валторны тело наливается чужой упругой силой... Ташкент! И не надо ни пятки щекотать, ни романы тискать. Лежит Синенький, спокойный лежит... Валторна завозилась. Синенький притворился равнодушным, да и ухо давить надумал... нехотя ласкает жирок Валторны под атласной кожей...

Ещё раз! И — пустота! И? И что? И это вроде того... для того живём? Блин горелый! Что-то не то, братцы кролики, что-то не то! Встал, в робу влился и — к столу. Серожа проснулся, гармошку поднял... Пить с Синеньким не стал. Ходули за печку направил. А Синенький за жабы плеснул и разозлился... на баб... продажные! давить надо! душить! через одну! без исключения! вот такую дурь про себя понёс! И сам себе удивляется. Чувствует, что в пузырёк лезет, а остановиться не может. Вскочил и — за печку... Серожа уже к Валторне пристраивался... А тут откуда ни возьмись — Синенький! Синенький — хлест! Хлесть Валторне по пачке! С разнузданной свирепостью! Серожа припух:

— Ты что, Синенький? Крыша едет?

А Синенький к опешившей Валторне нагнулся, зло шепчет:

— Ты себя... до мужа должна... — Злость в нём искала словцо пожестче и посправедливее — не находила. Синенький вовсе несурезицу понёс: — А тебя мужики пьяные... по очереди... — И отчалил к столу... плеснул за жабы... Валторна, всегда дерзкая и склочная, тут смолчала. Серожа сел за стол, волосы свои русые двумя ладонями пригладил и Синенькому в глаза взглянул.

— Ты бы нашёл своего старца, а то не поймёшь, что у тебя в башке... Ты либо так, либо... по другому пути, а то разорвёшься! Так нельзя долго жить враскорячку! — Набор слов, но Синенький понимает Серожу. Глаза Серожины говорят: «Ну ты даёшь! Какого мужа? Это же Валторна!» — Найди старца... Видать, он и вправду отец тебе... — Серожа, хотя и пьян, а посчитался с тем, что для Синенького важно. Синенький понял это, хотя сам не понимал, что для него важно. И сам себе удивлялся. Спать! Спать, пока злость не проснулась! Спать, ё-моё! Проснулся Гриша... Ну и пачка у него! Толстый блин, гречневой кашей посыпанный... повис Гриша над патефоном... пытался завести его... Завёл! Игла гневно зашипела... Валторна вышла из-за печки... Гриша посмотрел на Валторну и облизнулся...

* * *

Утром Синенький обмылку на брови надвинул и — за Гришей в Ершовку. Прикид на Си-

неньком приличный: и лапсердак (пощупал нож в боковом кармане), и корочки со скрипом, и удавчик беленький. И притёрто всё, давно в робу вбился. Григорий попутчику не радовался, молчком шёл. Уже к станции подходить стали, угрюмо бросил:

— На товарняке минут двадцать катить... ну, может, с полчаса...

К железке подошли, уже, как говорится, змея к водопаду подползала. Лес на юг гонят. От брёвен смолой пахнет. Поездуха с лесом ждёт, пропускает встречный военный состав. Но вот уже колёса стучат под ногами, прижелезнодорожный лес назад убегает... Лафа! Зябко немного. Синенький из чемоданчика бутылку достал — похмелились. Всё в цвет пошло! И состав с лесом казался каким-то уже мечтательным... такая утренняя мечта... ничего определённого... ни о чём... А Гриша оскалился, будто недоволен всем на свете. У Гриши узор под глазом. Синенький вчера нарисовал. Не вспоминает Гриша, побаивается... а может, не помнит... лес вдруг перестал мелькать, и выплыло озеро. Вода блеснула... Змея по мосту загрохотала... Речушка из озера вытекает... На холмистом озёрном берегу деревня мелькнула: дюжин семь домов... Гриша говорит:

— Приехали! — И прыгает. Синенький — за ним. В будке у него будто густой студень взболтули. Ещё чуть-чуть, и студень от чего-то там в башке оторвался бы. Синенький бежит с насыпи (ноги впереди бегут), чемоданчиком машет отчаянно, равновесия не найдёт... Что, если чемоданчик раскроется и золотишко разлетится по... Притормозил Синенький, отдышался, мозги немного утряслись... А вокруг — лафа! Краски, правда, лёгким утренним туманцем затушёвываются. Прохладно ещё. Гриша обернулся.

— Что встал? — Соломинку жуёт. Говорит, а соломинка дёргается. Рядом с Синеньким — берёзка. Сук у неё обломлен нижний. Синенький на него руку положил. Пошатывает Синенького. Железка ещё токает. Стука колёс уже не слышно, а железо токает. Кровь в ушах токает. Надо же, только вышли, а уже ухайдокался! Идти Синенький не может: мотор в мозгах стучит... да через два раза на третий... В лесу, по берегам речушки, ещё снег лежит, на прошлогодней траве лежит. Острова на открытке напоминают. Голые ветви

берёз кажутся переплетёнными, а сосенки радуют зеленью, будто обновлённой после зимы. А вдаль, за озером, лес бледно-сиреневый и тёмно-зелёный. Вода озёрная — только у берегов, а в центре — лёд. Он тёмно-синий, а по нему утонувшая тропинка тянется... блестит, гладкая! погладить хочется... небо большое, а балды нет... лёгкость в природе! ещё бы внутри лёгкость появилась... А пить так много нельзя! Синенький пошёл за Гришей... Из-за тучки выглянула балда — от деревьев к речушке пролегли четкие чёрные тени, одуванчик в пожухлой траве зазолотился. Под ногами мягко, хорошо идти. По мягкому долго идти можно! Туманец рассеивается, и всё вокруг обретает чёткость. Сердце уже ровно стучит... более-менее... У плотины — мельница... голоса слышны, смех... ясные, четкие голоса, будто умытые. Коробка с кипешем песню поёт... На плотине Гриша останавливается — смотрит вниз. Синенький подходит и тоже смотрит вниз на мягкий, гладкий синий водопад (погладить хочется). А в Грише что-то заостенело. Синенький рядом с ним как бы поменьше ростом стал. Узнаёт Синенький свою злость в Грише. Может, вспомнил что... Красиво вода падает! Внизу гладкая синь бьётся о валуны.

— Наша мельница! — сдерживая злость, цедит Гриша. Скалится на неясный людской говор с мельницы. Шумит вода внизу, разбиваясь о валуны-ледорезы, превращаясь в янтарно-жёлтую пену. На невысоких склонах озёрного берега ещё не растопило сугробы... белеют и синеют... А на другом берегу желтеют одуванчики в пожухлой траве. Гриша хочет что-то сказать, но не уверен, будет ли Синенький его слушать. Синенький не торопит Гришу. Понятно, про мельницу хочет рассказать. Понятно, заколхозили мельницу... Освободившаяся ото льда вода у берегов синее, а местами серебристо блестит. Много синего! Полоса леса за озером синее. И тающий лёд с голубишной, и небо голубое, как лёд. — Всё отобрали! — сказал Гриша. — В тот день, когда уполномоченный из города приехал, нас отец в лес отправил. — Соломинка в зубах Григория ходунном ходит. Хочется ему рассказать Синенькому одну историю. Сам Гриша всего этого не видел, а по рассказам представлял себе эти события так.

Путь от сельсоветовской избы до дяди Федорова двора строители нового мира прошли в молча-

ливой строгости. Каждый думал о своём. Приехавший из города кавказец, без сомнения, думал о дяди Федоровом рысаке в яблоках. Он уже видел его в своей упряжке. Председатель, думается, видел дяди Федоровых коров и овец на колхозном подворье. Комсомолец остроголовый (в отцовском пропылённом красноармейском шлеме), должно быть, перебирал в умишке идейные соображения, соответствующие моменту: как никак кулачество как класс уничтожается. Трудно сказать, о чём думали вооружённые красноармейцы (и тот, и другой — деревенские жители). А может быть, все думали о возможном сопротивлении. Походки у всех одинаковые набились, важничали походками. У дяди Федоровой калитки удивил их носы тёплый терпкий запах. Кавказец пнул калитку ногой — она без скрипа мягко отворилась. Увидев лужу крови, полномоченный выхватил наган, красноармейцы — винтовки наизготовку. Осторожно зашли во двор. Разинулись у них рты. А — тихо-тихо... только хрипловатое дыхание дяди Фёдора. Кавказец дулом пистолета поднял козырёк своей краснозвёздной кожаной фуражки...

— Билят! — выругался, зеленея от злости. Его спутники остолбенели. Время будто остановилось. Дядя Фёдор в расслабленной бесчувственности сидел на окровавленной колоде. Взгляд его молчал. Сапоги — в кровавой луже, из которой выглядывали отрубленные куриные и гусиные головы. В ней же лежал топор. По двору валялись окровавленные туши овец, коров и рысак в яблоках... Робко жужжали мухи...

— И далеко твой батя парится? — спросил Синенький Гришу.

— А не сослал его... мельницу только приватизировали... сочли, должно быть, что и здесь места достаточно северные... — Гриша со злостью выплюнул соломинку в воду. Синенький узнал в нем свою злость и удовлетворённо усмехнулся. — Ну, мне — туда! — Гриша кивнул на Ершовку. Пригорки в деревне черны: прошлогоднюю траву уже пожгли. На околице — березнячок серый, кладбищенский. Огороды под картошку ещё не вскопаны. У плетней желтеют жёлтые одуванчики. — А тебе — по другому берегу. — И разжевал Синенькому, как дойти до Уарова домика... — Озеро наше похоже на большую восьмёрку. Всё, что ты видишь, это только головка, а большая

часть, рыбная, там, за холмом. А у перешейка этой восьмёрки и живёт старец. Берегом не иди: топко ещё. На косогор поднимешься...

— Буквоед этот, может, чудеса какие творит?

Гришка пожал плечами.

— Не слышно... так, мироотречник! Большевики чудеса запретили...

— Что же они его не трогают?

— Трогали уже... Сулили ещё раз посадить...

Над Ершовкой облака набухают, силятся походить на летние. Но балда спряталась, нет балды. Синенький держал путь на пригорок, с которого съехал к озёрной воде пласт снега. Лежит на бережку и отражается в воде, точно ангел утопленный. От свежего воздуха Синенького слегка пошатывает. Шёл он лесистым бережком, на косогор не поднимался, силы берёт. Но стало, как и предупреждал Гриша, топко. Под ногами ещё просматривалась стёжка, огибающая топкие места. Стёжка поднималась на косогор. Какой вид открывался с косогора на озеро! Красиво и привольно! И хотелось хорошие слова говорить! Берёзку погладил, падлочку... гладкая кора... Дома в Ершовке группировались вокруг каменного храма, но как бы отвернулись от него. Понятно, креста над храмом не было... Тут балда из-за облака выглянула, и небо стало как будто летним. Но полупрозрачным облакам никак не удавалось превратиться в кучевые. Синенький хромал долго, но вот внизу, у подножья косогора, среди белеющих в сиреневой дымке береговых берёз, у самой воды, — домик. Выглядел он несколько обветшал. Рядом — сарайки и банька. Над дверью мелом крест нарисован. Он почему-то развеселил Синенького... Ну, святое место! — не без иронии подумал он. Толкнул дверь... не заперто... Курица белая откуда-то вышла, довольно упитанная... смотрит одним глазом... непуганая... Синенький её ногой с крыльца спровадил — курица молчком враскачку понеслась к сарайшке. В сенях пахло травами и берёзовыми венниками. Синенький дверь в избу распахнул. В переднем углу — ангел из белого дерева... задумавшийся... из храма, должно быть, забрали. На приоконном столике, рядом с иконами, стопка незапылённых книг живёт... В кухоньке, за белой занавеской, кто-то посудой гремит. Пахнет в избёнке ладаном... как в храме... Заметил Синенький на столе крест, и захотелось ему до безумия

погладить пальцами металлическую зеркальную поверхность, дотронуться до тех мест, где Христа не было. Даже ощутил под веточками скользкую поверхность... Из кухонки бородатый бугай вышел непонятной национальности. Ручищи тряпкой вытер, глянул на Синенького тяжело... А Синенькому и без того плоховато... воздуха нет в избёнке... келья, блин! Синенький на чемоданчик свой опустился. Бородатый, хоть в портках и рубахе, но... косоного и в рогоже узнаешь! И рожа у него азиатская, чует Синенький, знакома ему. Чалились где-нибудь вместе, — разве всех упомнишь? А плоховато Синенькому, перед глазами всё поплыло, затуманилось, почудилось, блин, будто ангел под иконой пошевелился...

— Тебе кого? — с тревогой спросил поп неясной национальности.

— Уара, — прошептал Синенький, чувствуя во всём теле предательскую слабость. Поп кивнул на иконы. До Синенького дошло, что под иконами не ангел из дерева, а человек из плоти... в светлом подрянике... А Синенькому совсем плохо, перед глазами плывёт всё, но старец чётко выделяется среди расплывающихся предметов. Похож? — сам себя спрашивает Синенький и сам себе отвечает: — А хрен его знает! Старец весь снежным волосом зарос, лицо у него бледновато-розовое, а у меня рожа синяя... отец? Это мой отец, — захотелось сказать Синенькому попу неясной национальности. Но не сказал... И так ли это? И если так, то — что? Синенький придышался немного. — Как бы это поточнее выразиться на вашем духовном языке... — весело сказал Синенький. — Пришёл за духовным советом...

Косой неясной национальности насторожился, а старец вроде как не чувствует в тоне прошедшего издёвочки. Да Синенький и убрал её на конце фразы. Сама как бы убралась...

— В Бога веруешь? — спросил старец.

— Как же! — весёлым тоном отвечал Синенький. — Бог — не фраер, как говорится... стало быть, Он есть... — Синенький глянул на чернобородого, как бы ожидая от него улыбки на удачную шутку, но тот не улыбнулся. Синенький сам почувствовал, что не выдерживает весёлого тона. Старец кивает, кивает, кивает, а сам на Синенького посматривает так, будто что-то вспомнить силится, но не может вспомнить. А Синенькому

полегче стало, и чемоданчик под ним уже ходунком не ходит, довольно уверенно сидит на нём Синенький.

— Откуда будешь... такой верующий? — спросил старец.

— Детдомовский... Так сказать, раб Божий — обшит кожей... родителей не помню, — начал Синенький, будто обвиняя кого-то. — Больше — по лагерям, — добавил он не без гордыньки. Хотелось весело, но снова не получилось. — Злой я стал, отец Уар! Сам себе не рад! Иногда так всплывёт... за себя бояться начинаю! лишнего уже! поубивал бы всех, ё-моё!

— Рецепт у нас простой: если кто ударит тебя по одной щеке, подставь другую... — И смотрит на Синенького так, будто силится что-то вспомнить. Синенький оскалился.

— Слышал я про это... Нет, отец Уар, я так не смогу... и мечтать не надо! Мне такая твоя наколка не пригодится...

— Если не можешь другую подставить, то хотя бы потерпи удар по одной щеке! — И смотрит на Синенького так, будто мучительно пытается что-то вспомнить.

— И этого не смогу, — сказал Синенький серьёзно, — и эта наколка мне без нужды.

— Что же... тогда скажу тебе, что ты болен! — И смотрит на Синенького так, будто пытается что-то вспомнить.

— Я болен?! — Синенький усмехнулся. — Ты, отец Уар, очнись... Во всём мире — классовая борьба, блин! люди друг друга... а! ну да! у вас весь мир и болен... понятно... Я понимаю, что злость моя не от здоровья! Тогда помолись, что ли... — Синенький говорил так, будто просьбой своей делал старцу одолжение. — Может, у тебя, кроме щеки, ещё рецепт какой есть... попроще? — говорит Синенький и себя не узнаёт, под взглядом Уара вроде как немного смущается.

— Проще нет! Но есть ещё честная Кровь Христова.

— Если принимать Её с упованием, — добавил поп непонятной национальности (смотрит на Синенького с плохо скрываемым презрением), — то...

Синенькому опять плоховато сделалось. Ругал он себя... Загнал мотор с этими пьянками!

— Я не с тобой базар веду! — одёрнул Синенький чернобородого.

— ...то Кровь Христова уврачует всякую страсть, — продолжил старец. — Причащайся, читай Евангелие, проси у Господа вразумления, милостыню твори, и злость твоя отойдёт. Тяжело это... А не будешь со своей страстью бороться, она тебя изнутри сгрызёт... хуже волка! Волк насыщается жертвой и отходит, а страсть не отходит. Она тебя до полного порабощения доведёт, до рыхлой жизни... Ты ещё: я! я! а что — я? нет ничего, живой труп уже, довольный своей гордынькой. Пока живёт в тебе злость, она будет тебя умерщвлять!

— Отец Уар... да где причащаться? сам знаешь, все храмы — кирдык! по просьбам верующих...

— Ты пока без причастия начни... Как только раздражение в себе почувствовал... или хамство чьё-то, или несправедливость какая, ты перекрестись и скажи: «Терплю! ради Господа нашего Иисуса Христа... терплю!» — Старец поискал что-то под стопкой книг на столе. А Синенькому ещё хуже стало, поплыло перед глазами, но среди расплывшихся предметов старца видит чётко. Чемоданчик под Синеньким неуверенным делался. Из-под книги с обмахрёнными страницами отец Уар вынул бумажку, химической чертилкой написал что-то. Поп неясной национальности передал Синенькому старческую писульку. А когда передавал, брызгами своими просверлил Синенького, будто за ним, за попом, правда какая-то и он за собой право чувствует на Синенького смотреть с презрением. Присутствие чернородого уже утомляло Синенького. Почерк у отца Уара крупный и ясный. Было написано: «Терплю! ради Господа нашего Иисуса Христа... терплю!» Синенький со снисходительной улыбкой отправил записку в карман своего лапсердака, в котором нож дремал.

— Заповеди известны, заповеди укажут, что делать, — продолжал отец Уар, а Синенький думал: «Спросить у старца про сына? Или...» Синенькому стало скучно. Дешёвый мир... Да и сваливать надо, пока не грохнулся. Плохо... дышать нечем...

— У меня, отец Уар, свои заповеди! Не верь! Не бойся! Не проси! Слышал, должно быть, про такие? Ты, говорят, тоже где-то парился...

— Сейчас почти все священники в темничном заточении... за Христа страдают...

— За Христа? — спросил Синенький и недовер-

чиво усмехнулся. — Хорошо устроились! — И хлопнул себя по коленке. — Мы все, значит, за свои грехи сидим, а попы — за Христа?! — Синенького понесло: — Хорошо косые устроились! Вы — за Христа, а мы ... за грехи! Мы там так просто подыхаем, а вы — мученики! Понятно... Не так уж и много вас, попов, среди зеков...

— Почти все, кто ещё жив, сидит.

— Да ну? И не скажешь! А главный ваш со Сталиным — вась-вась... Или нет? Удобно! А остальных патлатых — в лагеря! На мученическую смерть! — не унимался Синенький. — Так пострадать каждый дурак сможет!!!

Отец Уар посмотрел на Синенького, как смотрят на неразумное дитя, и сказал спокойно:

— Не каждый за Христа пострадать сможет... Это — Божья воля! принимать мученический венец от Господа... И в древние времена не каждому Господь позволял пострадать за него. Это ещё надо заслужить... очистить сердце своё от зла... увидеть зло в сердце своём и очистить его! В древние времена многие христиане отказывались приносить жертвы языческим идолам. Христиан избивали до полусмерти, подносили к жертвеннику, вкладывали им в руки куски жертвенного мяса... И их же руками возлагали мясо на жертвенник. А потом христианина за руки-ноги из танцующей пьяной толпы выкидывали! А ты говоришь: пострадать каждый дурак сможет... Нет! Кто-то из христиан тут же во время языческого праздника бесстрашно исповедовал Христа — к нему приставляли хохмачей, и они передразнивали благочестивые речи, и пьяная языческая толпа гоготала над ехидными ёрническими «толкованиями». Потом избивали исповедника... кусок жертвенного мяса ему — в руку, и его же рукой — на жертвенник. И из толпы выкидывали, избитого... И только тех, кто сердце своё молитвенно очистил от зла, тех мучили с сатанинской жестокостью... Самим мучителям страшно было от своей злобы, от своей ненависти к христианам, непонятной для них самих. Кому тело строгаи, кому ноги-руки перебивали... и сей-час то же самое в русских землях творится...

Синенький усмехнулся:

— Уши шлифовать вы умеете...

— Не распинайтесь вы перед ним, отец Уар, — сказал чернородый непонятной националь-

ности. — Он не слушает... Он в лагере над архиереем издевался... верхом по бараку на владыке ездил! Узнал я его!

Синенький оскалился:

— Что же ты не защитил там своего владыку? А? Очко не железное — минусуло? — И Синенький вспомнил этого чернобородого непонятной национальности. Писака! Про железных фраеров писать не хотел... Писаку рукоположили... Волосом оброс, и не узнать! На место бы тебя поставить! да сил нет... И плохо, ё-моё! Нож в кармане поправил, и чуть-чуть полегче стало... — Пойду, — решает Синенький, — в другой раз докалякаем! Поднимается Синенький с чемоданчика...

— Имя назови своё... кого поминать? — спросил старец.

— Имя? — Синенький в дверях остановился, за косяк держится. — Блин! Имя-то? — Шатает Синенького. Вспомнилось имя: — Иван. — Не обернулся Синенький... На воздух! на воздух!

На косогор поднимался медленно, медленно шёл по его гребню, ругая себя, что потащился в такую даль. Но раздышался немного — полегчало! С косогора спускается... Ё-моё! Что ещё за блинский нафиг? Косой непонятной национальности на стёжке стоит... Вот, ё-моё! На свою задницу приключений ищет... Ноги у попа по колено в болотной жиже... Что за нужда у него бежать за Синеньким топким берегом? Поп оёжил на Синенького. А ноги у Синенького — ватные, колени дрожат и подгибаются. Попа видел уже смутно, неясно. И тут поп неясной национальности поздравил Синенького! Не ожидал тот такого жёсткого поздравления, даже в уме не прикидывал. Удар был сильным. Синенький, падая, ещё о берёзовый ствол головой ударился. Первым делом, очнувшись, чемоданчик придвинул к себе поближе, чемоданчик довольно туго набитый, между прочим. А потом, слегка улыбаясь, нащупал нож в кармане лапсердака. Только прикосновение к ножу уверенности не прибавило... Не справится! Мотор стучит через два раза на третий... И оставлять так, как есть, нельзя! Пусть и случайный человек по жизни! фраер демисезонный! Дышит Синенький тяжело, веточки на хапугах трясутся мелко-мелко, но засунул их в карман лапсердака, с трудом, но засунул. Долго веточки в карман не по-

падали! Засунул... Попали, милые, попали! А плохо! дышать нечем... Всё, наверное! Кранты! Веточки обессиленные нащупали в кармане бумажку, на которой старец молитву написал. Достает бумажку... Дрожит бумажка в веточках, а Синенький сознание теряет, перед глазами всё бело замутилось, но попа чернобородого ещё видно. Он нагнулся к Синенькому так низко — ещё чуть-чуть и клювами коснутся. Косой шепчет:

— Это тебе за того архиерея, на котором ты верхом катался! — Капли пота дрожат у попа на висках, сбегая по твердым широким щекам.

— Сдаётся мне, ты за себя оглядки возвращаешь, а не за архиерея... — Синенький скалится через силу. Отодвинул будку попа, записку развернул... Буквы пляшут, ё-моё! Но Синенький и так запомнил.

— Терплю! ради Господа нашего Иисуса Христа! терплю! — А сам косому в его узкие брызги смотрит, пристально старается смотреть... Будка попа рядом совсем. Он хоть и скрывал настроение, а почувствовал Синенький: от последних слов его попу не по себе стало. Не положено ему никого с ног валить... Он щёку свою подставлять должен... Ясный хрен, никто никогда никому её не подставит, но... вроде как положено... для поповского фортецелла! Ваши не пляшут, косой! Тут поп забубнил что-то, пошёл на попятную, чуть ли не прощения просить вздумал... Ну, фраер демисезонный! Что взять с него? А Синенькому совсем плохо!

— Бог простит... — выдавливает из себя Синенький, а про себя думает: «Свидимся ещё». Мотор глушится... И увидел Синенький испуг на пачке попа чернобородого. Он вдруг отпрянул и отскочил. Тут и Синенький замандражировал. Видать, и впрямь, кранты приходят! Минуснул поп, что человека пришиб...

— Чего ты? — спрашивает Синенький, а у самого язык в хохоталке буксует. — Смотришь так, будто бушлат деревянный на мне...

— Да так... — Косой рассматривает Синенького пристально. Пот с покрасневшего лба вытер. — Почудилось, будто я не тебя, а отца Уара... будто это он на меня смотрит. — Гонор с попа слетел, уже не гоношится.

— Ты на свой счёт не переживай — тараканья... Я вашу катакомбу не сдам... но при слу-

чае, сам понимаешь, я, косою, с тобой расквитаюсь... — Угроза Синенького никак на попа не подействовала. А Синенькому чуть получше, он уже знает, чем попу досадить: — Если ты старцу Уару про нашу встречу расскажешь, он скажет тебе, что ты болен...

— Постой, — перебил поп, — а ты старцу нашему не сын? — спросил шёпотом. Вспомнил, должно быть, бесконвойный труд на просеке.

— Может, и сын... В другой раз выясним... когда тебя там не будет... — Последнюю фразу Синенький отчеканил. Фраза получилась, как и хотелось, весьма двусмысленная, не без угрозы.

Чернобородый пробубнил что-то невнятное и похлопал топким бережком обратно... Синенький попробовал приподняться... Сходил к старцу, ё-моё! Кому рассказать, подохнут со смеху! Ещё чемоданчик чалить! Совсем плохой стал... Сил нет идти... А куда я на хрен денусь? Копыта с трудом передвигаются... А тебя, косою, я ещё поглажу по кумполу! Идёт Синенький к плотине... взмокший, еле живой... Страсть, как захотелось под жабры плеснуть! И как только подумал про выпивон, зашагалось веселее... Однако похож я на Уара, похож... — думал Синенький, — только рожи у нас разноцветные... У старца — розовенькая, вся снежным волосом обрамлена, а у меня синевою, падла! В мордогляд не взглянешь...

* * *

Спустя пару недель поздними сумерками кто-то ввалился в тесные сени Уаровой избёнки. Старец прервал молитвенное правило, открыл сенную дверь и в свете, идущем от лампы, увидел лежащего на полу человека. Отец Уар узнал Синенького. От него шёл винный запах.

В избёнке Синенький, беспомощный и слабый, рухнул на большущий сундук. Старец двумя пальцами снял нагар с лампадного фитиля и снова затеплил лампаду. Опустился на сундук рядом с Синеньким. Молчит старец и смотрит на чёрные после фитиля подушечки пальцев. Синенький дышит хрипло. Сквозь хрипы говорил:

— ... я ей ботву на тыкве поджёт!

— Какую ботву? кому?

— Валторне... вешалка станционная... как пос-

ле меня под Серожу легла... Злость во мне! Сам не рад! вот ботву ей и подпалил! Серожа потушил, но уже полтыквы выгорело! схватил за ботву и подпалил свечой. Ботва у неё на тыкве горит, а она не поймёт ещё, смотрит на меня и ставнями хлопает... Я ещё пуще злюсь... я ей ботву подпалил, а она ставнями хлопает... не могу я уже со злостью своей! — со слезой прошептал Синенький и раскрыл рот. Так и замер с открытым ртом и открытыми глазами. Уар задумался, и все вещи в келье будто задумались.

— Смотрю я на тебя, раб Божий, и сдаётся мне, что ты... сын мой, Ванечка... Синенький...

Синенький с трудом приподнял трясущуюся голову.

— Не рад, поди, батя, такому сыночку? — Но ответа не расслышал. Голова упала на сундук. Синенький провалился в забытё, а когда очнулся, уже утром, старец сидел на прежнем месте, положив руки на колени, и дремал. Под головой у Синенького — сенная мякоть. Глядит, а корочки его у печки стоят. Стало быть, расковал ему старец ноги.

— ... печь протопил... помогу тебе на печь забраться... знобит тебя...

Уже с печи, из-за занавески, Синенький спросил:

— А поп с восточным лицом где?

— Ушёл он...

— Он мне тогда в кость дал...

Пламя ещё гудело под Синеньким, кирпичи под матрацем теплели.

— Не злись на него, — попросил старец. — Он — поп новоиспеченный, многого ещё не знает... Голова ещё светским набита...

— А я и не злился, — из-за занавески отвечал Синенький. — Я молитовку твою на писульке достал и прочитал... Но я ему, конечно, когда-нибудь после все озадки ворочу непременно! Я, когда Валторну метелил, забыл про молитовку... расслабились... С Серожей в городе сонник вымолотили... радость от дармовой покупки!

— Я, Ваня, некоторые твои слова плохо понимаю.

— Ну... может, и к лучшему! — Синенький и от этих слов устал, и подбирать понятные Уару слова не собирался. Смотрел тупо с печи в окно: зелёная трава пробивалась из-под прошлогодней.

— Ты не пренебрегай молитовкой, — послы-

шался голос старца, — и Господь истребит твою злость. И здоровье дарует, не богатырское, но для спасения достаточное... Молитва православная сама в себе имеет Учителя...

Огонь в печи под Синеньким затих, и она уже отдавала тепло. Синенький снисходительно улыбнулся на слова Уара.

— Приятно тебя послушать...

— Мало пользы, если будем только слушать — надо очищать своё сердце!

«Ну-у, — подумал Синенький, — теперь уши шлифовать будет...»

— ... Господь примет тебя, если ты захочешь вернуться из своего падения. Он примет тебя с радостью!

— Батя! — Синенький резко сел на печи и ударился лбом о потолок. — Уё! — Отдёрнул занавеску. Глаза его воспалённо горели. — Чемоданчик! чемоданчик! Где чемоданчик?!

— На приступке стоит...

Синенький свесил голову с печи. Тут чемоданчик! Слава Богу! Синенький поднял чемоданчик на печь, поставил рядом.

— Ты говори, батя, говори... хорошо тебя слушать! — Синенький потёр ушибленную голову. — Что же... выходит, в этом доме я на свет Божий вылез... — сказал Синенький, глядя на вбитое в потолочную балку кольцо, за которое привязывали люльку.

— Дом этот отца Николая... мы с ним срок вместе отбывали в Архангельской области, не очень далеко отсюда... за контрреволюционную деятельность...

— Ого! — отозвался Синенький. — Что же вы натворили? бомбу под Кагановича бросили? — Сострил и сам коротко засмеялся.

— Сергия Страгородского не поминали... после его декларации... особо гордиться нечем, но не поминали... чекисты и приписали к монархической организации... Срок к концу подошёл, а мне возвращаться некуда... матушка померла в другом лагере... вот и позвал отец Николай с собой... а сам вскоре и умер...

— А... вообще... откуда?

— Саратовские мы, из Милой Сердоболии... Отец мой псаломщиком служил в сельском храме. А я до восемнадцатого года в городе служил, преподавал... Тут пошло: то арестуют, то выпустят... Так, кратковременные аресты... по обыч-

ным в те дни обвинениям. Владыка в село меня перевёл, в родную Милую Сердоболию. И устроились совсем неплохо по тем лишенческим временам, очень даже неплохо... Это сейчас, слухи доходят, голодно там. А тогда... прямо скажу, неплохо, неплохо... Дом, амбар, сараюшки, понятно... гумно, баня, лошадка, коровка... Поначалу и при новой власти вполне сносно устроились. Тяжеловато поначалу было с непривычки к физическому труду...

Синенькому от жары плоховато стало. Случилось с ним что-то вроде обморока.

Когда очнулся, старец всё ещё рассказывал:

— ... следователь НКВД собрал сведения для моего ареста... «Контрреволюционную агитацию проводил?» — «Нет,» — отвечаю. «Следствием установлено, что ты в проповедях и разговорах систематически хулил руководство партии и правительства за гонения на православных». — «Нет!» — «Пугал войной?» — «Ну, говорил, что грянет что-нибудь по грехам нашим!» Всем сходом сельским постановили... выступали те, кто по должности своей не мог противиться, и постановили, что я службой, звоном колокольным, крещением-отпеванием создаю в Милой Сердоболии... какую-то обстановку... Двдцатка от меня отказалась... Получилось, что я обманом всех заманил... Староста только не отказался — его тоже куда-то... Я его поминаю, поминаю за здоровье, а может, и нет его на земле... Господь знает... Мёртвых у нас нет... Наш Бог — не Бог мёртвых, а живых, так что тут не ошибёшься.

Когда в следующий раз Синенький очнулся из забытья, старец, сидя на табурете под иконами, говорил уже о другом:

— ... тебе уже пятый год шёл, когда я тебе «Ваньку Жукова» прочитал... Антона Павловича Чехова... «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать...» Перед сном читал... и свечу уже задул, и ты из темноты спрашиваешь: «А когда дедушка из деревни придет за Ванькой?» Не понял рассказа по малолетству. «Нет, — говорю, — Ваня, не придет за мальчиком дедушка... Как деревня называется, не написал Ванька на конверте...» Ночью матушка — локотком меня в бок... Проснулся и слышу: всхлипы за стенкой... ты плачешь.

Матушка свечу затеплила и — в твою спальню. Я — за ней. — Синенький слушает старца, мимо него в окно глядит. Озеро будто улыбнулось. Солнышко выглянуло, мелкая волна блеснула золотом, точно вскрикнула от радости. И скрылось солнце, а волна из золотой, улыбочивой, превратилась в серебряную. — «Что ты, Ванечка, плачешь?» — спрашивает тебя матушка. «Жалко-о... — плачешь ты. — Ваньку Жукова жалко! Он не знал, что на конверте писать надо, как деревня называется... Ждёт теперь дедушку, а дедушка не получит письмо...» — И зарыдал ты, стоя в кровати. Матушка обняла тебя, приголубила, а на меня ворчит: «Нашёл, батюшка, что ребёнку малому на ночь читать! Молитвы-то прочитали? Или забыли?» А ты никак унять не можешь! Личико и так синенькое, а тут прям густой синевой пошло... и задыхаться стал... Я спрашиваю: «Что же ты хочешь, Ваня?» — «Давай, батюшка, Ваньку Жукова найдём и возьмём жить к себе! У нас ему лучше будет...» — «Так он уже вырос, — говорю. — Рассказ-то давно написан». — «И где он?» — спросил ты через задышку, а сам успокаиваешься немного и от ласки материнской, и от моих слов. «Сапожником, — говорю, — работает и дедушку старенького к себе из деревни взял...» — «А то бы мы в одной комнате жили... он бы мне братом стал...» — Старец улыбнулся воспоминанию, помотал снежной бородой...

А Синенький смотрит на озеро...

— Батя, а злость моя? может, я того ... бесноватый? — со страхом допытывался Синенький.

— Отцы учат, что бесы тел не имеют, но телами для них можем быть мы сами. Временно... Мы принимаем тёмное, принимаем бесов и становимся на время для них телами. Иногда на продолжительное время... Злоба вредит себе сама...

— Я заметил: скажу слово хорошее, на меня тоска нападает.

— Доброе отношение к ближнему угодно Господу, а не бесам... А ты следи за словами, Ваня. Слова добрые — они к добрым делам привести могут. Обратная связь какая-то есть... В церковных книгах над каждым словом ударение поставлено... а ты, Ваня, говоришь — я половину твоих слов не понимаю. И по-русски вроде бы, а как бы наизнанку вывернута речь твоя...

Синенький не думал надолго оставаться у отца в келье, но захворал сердцем и тормознулся.

— Мне бы только болезнь перемочь, выходиться, — как бы оправдывался он перед старцем. — А как с креста встану, уйду...

Пока болел, война началась...

* * *

Первые дни оккупации Синенький пролежал в беспомысленности и долго ещё с трудом отличал бред от яви. Помнил, старец кропил его святой водой. Стоял на печной приступке и кропил, читал молитвы и кропил. Синенький покорно лежал на тёплой печи.

Однажды... кажется, наяву... приехал на лошадке дядя Фёдор из Ершовки. Его немцы...

— ... вроде как за старосту назначили. Ну, назначили — не назначили, а кому-то надо все эти хлопоты... тем более его, дядю Фёдора, народ церковным старостой выбрал, — говорил старец. — Храм взяли в Ершовке восстанавливать... а Гришка дяди Фёдора в полицаи пошёл...

Старец вышел во двор и о чём-то говорил с дядей Фёдором. Лица и у того, и у другого озабоченные. Дядя Фёдор, разговаривая со старцем, фуражку не надевал. Череп у дяди Фёдора крепкий, лысый, светлые волосы почти все выпали, осталось немного за ушами. Сам коренастый, на свежий пень смахивает, а лицо круглое, на толстый блин похоже, веснушками, будто гречневой кашей, обсыпано.

— Ты что, батя, засуетился? — спросил Синенький Уара, когда тот вернулся. А дядя Фёдор не уезжает. Синенький в окно видит, как он лошадке шею поглаживает... Божий одуванчик! Забыл, как рысак своего в яблоках секирой порешил? Старостой церковным его выбрали! ишь ты! Верующий он! Верующие — они какие? Мешковина! мешки пуганые! а этот...

— Нам, Ваня, с тобой на станцию надо ехать... — отвечал, собираясь, старец.

— За каким? — удивился Синенький.

— Обязательная явка! Все ершовские уже зарегистрировались. Теперь все должны работать на Германию.

— Какие из нас с тобой работники, батя?

— Работники мы никакие, но документ какой-

нибудь выпишут. Тут, Ваня, по своим желаниям не походишь!

— Не дойду я, батя...

— Фёдор Фёдорович на лошадке подбросит... Ляжешь в телегу, на соломку, а лошадка довезёт! Немцы — народ дотошный... вон на каждую избу велено табличку прибить... сколько народу проживает... и всех по именам!

... Дядя Фёдор остановил лошаду у порожне-го постаменту, на котором совсем недавно торчало чучело Ленина. К постаменту новая власть присобачила какое-то объявление на жёсткой бумаге. Текста Синенький разобрать не мог — видел только орла, держащего в когтях свастику. Перевёл немощный взгляд на гордоватое здание комендатуры с красным флагом со свастикой в белом кружке. Свастик в округе наблюдалось не меньше, чем раньше серпов и молотов. У крыльца стояла блестящая машина. Синенькому, несмотря на немочь, захотелось погладить её блестящие поверхности. Наяву ли, во сне ли из-за угла станционного здания появился непонятный отряд. Шли вразброд, винтовки болтались. Один из отряда остановился у телеги.

— Синенький? — Синенький узнал Серожа.

— Плохой он, — сказал отец Уар, прикрывая рот рукой. — Похоже, умирает... но вот... зарегистрироваться велено...

— Правильно, — сказал Серожа, — а то за неявку и дом спалить могут! — сказал так, будто к новой власти не имел никакого отношения. — Помолись, батюечка, за Синенького, — с добром попросил Серожа, заинтересованно разглядывая отца Уара. — Нашёл, значит, Синенький отца. — Круглое Серожино лицо улыбалось, как солнышко. Он был рад, что Синенький нашёл отца. — Помолись, батюечка — глядишь, и отойдёт Синенький. — Серожа говорил весело, а Синенькому плохо, не до разговоров.

Во сне ли, наяву ли ждали своей очереди, ждали долго. Синенький выдохся напрочь. Даже стоящий у тумбочки дневальный не раздражал своим преданным взглядом, каким сопровождал проходящих немцев. Регистрация совершенно обессилила Синенького, и отец Уар поглядывал на него с тревогой.

В санитарном пункте фельдшер чиркнул рыжеватым оком по лицу Синенького и замахал ру-

ками, поросшими рыжим волосом. Поверх немецкого кителя на фельдшере — белый халат, не застёгнутый, с закатанными по локоть рукавами. Отец Уар говорил что-то по-немецки. В голосе старца уступчивость, а фельдшер отвечал строго. Синенький молчит, укропом прикинулся. Немец что-то долго писал в толстой тетради, а Синенький смотрел на стенной портрет Гитлера и думал: «Скоро Гитлеру чучело у станции поставят». Немец снова замахал своими рыжими руками, а старец благодарно закивал.

— Продовольственных карточек нам не положено... Господь без них пропитает... — Отец Уар ещё что-то говорил, выходя на улицу, но его голос слился со стуком колёс проходящего грозно-военного поезда. Синенький поймал себя на том, что всё ещё прикидывается шлангом, точно вокруг него одни немецкие санитарные фельдшера. — Ты зря дурачком прикидываешься, — сказал ему старец, помогая залезть на телегу, — немцы дурачков не любят... Они... как наш царь Пётр!

— А что наш царь Пётр?

— Всех дурачков и юродивых в кандалы заковал.

— Предупреждать надо, — из последних сил сострил Синенький.

На обратном пути долго стояли у обочины, пропуская нестройную колонну пленных красноармейцев в изодранных остатках военных штанов и гимнастёрок. Кто шёл босой, кто в сплетённых наспех лаптях. Сопровождали пленных автоматчики — сытые, подтянутые, в запылённой, потной под мышками форме.

* * *

Старец кормил Синенького чем-то жидким с ложки. Вкуса еды больной не различал. Отец Уар сидел на печи, свесив ноги, а макушка его упиралась в потолок.

— Отец Уар?

— Да?

— А ты немцев меньше боишься, чем комму-няк!

— С чего ты взял?

— А ты при коммуниках подрысник только дома надевал, а при немцах, гляжу, совсем не снимаешь!

— Стало быть, так... — Белые морщины на лице старца улыбнулись. — Ты меньше говори — быстрее поправишься! вот хлебово хлебай... меньше боишься — больше боишься... Хрен редьки не слаще! Это не из Евангелия... Ещё ложку!

— Это хорошо, что я тебя перед смертью нашёл... прям, можно сказать, милость Божья! хоть закопашь по-человечески...

— Ты погоди закапываться... рот открывай! Это я дружку твоему, господину полицаяу, сказал, а сам так не думаю... Кстати, он мне, дружок твой, понравился... не злой он...

— Я утром твою молитовку слушал... Да убери ты это! не хочу я... это не еда — это рвотное! На лагерном кишкодроме лучше давали! Про гордыньку в молитве... Ты прям психолог! В самую масть попал! в цвет! Гордынька во мне с детства сидит... Родился я с дефектом... сердце... болеей сильных я пока особых не чувствую, но задыхаюсь часто и устаю быстро... Как бы недорабатывает сердечко... и синева по роже идёт... Меня в детдоме сразу Синеньким прозвали. Воспиталка иногда ласково называла, но я не любил, чтобы меня жалели! Ну, а когда подсмеиваться стали, тут гордынька-то во мне та самая и просыпалась! Я — с кулаками! Да куда там! Удар часами тренировал и набалатыкался, набил руку, но пацаны покрепче меня были, а главное, дыхание у меня после первого же удара сбивалось. Я и картошку-то копал: полрядка пройду и отдыхаю... И, понятно, синел. Тут уж словесные издевательства начинались под холуйский хохот. Стал хватать, что под руку попадалось... Гордынька, батя, гордынька... Ты — психолог! Но и пацаны хватали, что под рукой.

Синенький смастерил себе заточку из напильника. Стачивал его о холодный валун в глубине детдомовского сада. Скрежет нравился мальчишке. Он поплёвывал на камень и с удовольствием точил, точил, точил... Подолгу шлифовал заточку... с наслаждением поглаживал её. Заточка отдавала в ладонь приятной тяжестью, вселяла уверенность. Но мальчишка ещё напряжённо спрашивал себя: смогу ли пырнуть?

— ... пырну или нет? смогу или всю жизнь буду сносить? гордынька спрашивала, — так, батя? она ещё сомневалась и подначивала! И пырнул! в накипевшей злости! с воплем накинулся на своего обидчика и ударил! а потом с

внутренним восторгом наблюдал за навернувшимися слезами врага. Вот уже и гордынька моя была ублажена, вот она уж была довольна! Враг мой плакал под осутившимися взглядами своих шестёрок. В ляжку его ткнул. И остричь перестали по поводу синева моей рожицы! Заткнулись! Понятно, не решился я сразу брюхо вспороть!

Заточку Синенький припрятал, но и припрятанная она ободряла дух. Синенький подновлял заточку, не замечая, как вместо гордыньки входит в него вместе со скрежетом гордость.

— Другие в плечах шире, но очко-то у них не железное! Так жить можно: побаиваются — значит, уважают. Ни тебе понукания, ни тебе издевательства острот...

Синенький и сам не заметил, что ходить стал гоголем. Голос его отвердел. Радости от одиночества не было. Но и общаться ни с кем не хотелось. Если только с Ольгой Ивановной. И то не настоящей, а немного придуманной. В мальчишеских мечтах Синенькому хотелось, чтобы Ольга Ивановна каким-нибудь образом оказалась его матерью...

— А настоящую мать не помнишь? — прервал рассказ Синенького отец Уар.

— Не! Как срезало, ничего не помню! Может, придумал: белый домик с синими наличниками... улица тихая, зелёная... какая-то счастливая жизнь... придумал, наверное, долгими ночами придумал, да и сам поверил... Вспоминать-то нечего! Учился плохо...

Учился Синенький плохо. И не любил учиться. Только по литературе иногда получал пятёрки. В бывшей барской усадьбе, в которой размещался детский дом, сохранилась библиотека. Её сохранила воспитательница Ольга Ивановна. В своё дежурство, перед отбоем, Ольга Ивановна рассказывала вокруг себя воспитанников и пересказывала в лицах повести.

— ... в памяти от воспиталки остался какой-то туманный образ... расплывчато белеет мягкое круглое лицо... на Серожу чем-то похожа... женский вариант его лица... как если бы сестра его была... воспиталка никогда не страшила нас колонией и никогда не сулила отправить туда за непослушание. — Синенький долго помнил повести, пересказанные Ольгой Ивановной. Позже, в лагерях, когда какой-нибудь вшивый ин-

теллигент в ночной тишине барака под завывание метели тискал пахану роман, Синенький вспоминал Ольгу Ивановну.

— Эта Ольга Ивановна гордынку в тебе окучивала, — неожиданно сказал старец.

— В смысле?

— Повести про что были? Поди, про благородных людей, которые сотнями нехороших стреляли и резали?.. про мудрых пиратов?..

— Ну, батя, ты даёшь! Психолог!

— Книжки, значит, читать любишь?

— Любил.

— У нас полный чердак книг церковных. Большевики тут Ершовку припугнули, и половина деревни выбросила церковные книги в овраги. Мы с отцом Николаем и отцом Андреем (тогда ещё просто Швырёвым Ксенофонтом Ксенофонтовичем) по лесным овражкам лазили — собирали... Отец Николай сокрушался: как-никак его паства... переживал... И изящная словесность имеется. В подполе, у печки, хранится. То, что красные хозяева запретили. Достоевский... можно сказать, полное собрание сочинений. Ксенофонт Ксенофонтович читал. По одному тому брал, чтобы хозяйка не замечала. Не мог жить без Достоевского! Ксенофонт Ксенофонтович — белый офицер, на поселении здесь... перед войной его в иереи рукоположили... катакомбно.

— Это он, значит, в Ершовке храм восстанавливает...

— Он, он... Это с ним ты в прибрежном лесочке... Ещё ложку!

— Не!

— Рот открывай! Вот так! Поправляться надо... понятно, не за тем, чтобы заточками тыкать.

— Но в колонию я всё-таки из детдома угодил, — проглотив, продолжил Синенький. — Перевели к нам в детдом одного бугая, а не предупредили, чтобы не острил над синевою моей рожи.

И в руке снова сверкнула заточка. Как и в первый раз, пырнул обидчика с крикливым наскоком. Но рука взяла чуть выше, и пропорол живот насмешнику. И в больном сердце уже не шевельнулся укор. И не жалел Синенький поверженно обидчика. С кривой усмешкой, посапывая, смотрел, как тот корчится...

— ... а потом, когда уже выродом называть стали...

* * *

Однажды утром Синенький, проснувшись на печи, услышал церковные песнопения. В избе служили. Служба была сродни той, что служили в зырянском лесу. Только попы были в цветных облачениях, далеко не новых, но нарядности не потерявших. Служили в домашней прохладе со свежeweмытыми полами. Лица у попов были счастливыми, радостно-возбуждёнными. Родовались они службе, и Синенькому это было немного чудно. Попы с удовольствием кивали друг другу, передавая возглас. Дай им волю, они служили бы непрерывно! Синенький до того был удивлён, что забыл про свой чемоданчик. Как ни привык он к неожиданностям, но никак не ожидал, что старец Уар — епископ. Это теперь он нового попа для катакомб рукополагает, — догадался Синенький. Почувствовал, что давно лежит с открытой варежкой — захлопнул её. А на душе — спокойно, и в избе настроение какое-то спасительное. Ещё бы! Пятый угол, блин! Рука на чемоданчик наткнулась. Совсем уже лафа! А чемоданчик с побрякушками! притырить не мешало бы! Ходят тут... катакомбники всякие... Они хоть и попы... ищи их потом по катакомбам! Синенькому в окно видать всю чистую Ершовку. А на самом чистом месте — храм. Кажется, уже и крест водрузили... Перемены! И здесь, в Уаровом домике, служба идёт! Новоиспечённый поп — здоровяк небольшого роста с пышными усами и густой длинной бородой... а салага ещё! Может, и тридцати нет... Глазки, правда, неглупые. Ладанку путёвого у них нет — сосновой смолой кадят. Новоиспечённый поп громко стучал пятками, и епископ Уар назидательно шептал:

— Если не отучишься, на том свете по тебе так ходить будут.

И в другой раз через службу Синенький услышал назидательный шёпот епископа Уара:

— ...не «о благосостоянии святых Божьих Церквей», а «о благосостоянии...» Юродивый! — Синенький, прислушиваясь, приподнял голову и открыл глаза. — Ты дьяконом долго служил?

— Один год...

— И весь год «о благосостоянии» читал? Юродивый!

В потолочной балке — кольцо. Зацепили за не-

го крюк, а на него повесили кадило архиерейское, с колокольчиками на цепочках. Кадило бликует позолоченными боками. Голубоватый дымок вьётся из кадила — сосновый дух заполняет избёнку. Синенький дремлет... Дверь хлопнула — обдало свежим утренним воздухом.

— Ваня, причащаться будешь? — спрашивает старец, отодвигая занавеску на печи. Ваня не обнаружил даже минутной нерешительности.

— Да! — И приподнялся было, готовый слезть с печи, но старец остановил его.

— Лежи!

Исповедовал и причащал Ваню новоиспечённый поп. Исповедуясь, Иван поймал себя на том, что хочет удивить молодого попа своими грехами... детство заиграло... разнуждал звякало... Ботву Валторне на тыкве палил... Чуть было не рассказал, как с Серожей в городе сонник вымолотили, но удержался, не похвастался. Сам исповедник расчухал, что исповедь его никуда не годится, и попу сказал об этом.

— Причащается раб Божий Иоанн...

Причастник сложил руки на груди. Ещё один батюшка — молодой, серьёзный, с едва заметной белесой бородкой, — положил Синенькому на грудь красный плат, чтобы не капнуло случайно. Потом Иван слушал молитвы, положенные после причащения, и вспоминал взгляд новоиспеченного попа — бирюзовый, не засорённый какой-то. И поймал себя на том, что пожелал попу жизни лагерной... чтобы он там опыту житейского поднабрался. А то собирается в уютном катакомбном мирке уютную жизнь провести, ё-моё! Ты в миру живи! живи и мучайся! Вместе с народом, блин! Новоиспечённый поп раздражал Синенького. Красноармейцы пачками гибнут, кровь, блин! — мешками проливают... Солдаты вермахта против гидры коммунизма головы кладут... под пулями, блин! Не жрамши! Ё-моё! А этот будет: «Паки и паки...» Хорошо устроился, фраер кручёный! Почувствовал, что заводится, и осадил себя. Синенький слушал молитвы и смотрел на озеро. Вода казалась тяжеловатой. Смотрел на невесёлое небо над Ершовкой. Синенький зевнул.

Закорябала ветка о крышу, и Синенький проснулся. Попы уже сидели за чистым столом на покойных лавках, беседовали за остывающим травяным чаем, обсуждали некоторые неотложнос-

ти. За их спинами, в окнах, сияло солнце. За трапезой было тихо и радостно.

— ... при немцах-то послабление хоть какое-то, — сказал густым голосом новоиспечённый поп, глядя через плечо в окно на ершовский храм с новым деревянным крестом.

— Отец Андрей старается, — неопределённо сказал старец.

— Кто он? откуда? — спросил густым голосом новоиспечённый.

— Наш он был... Нашим катакомбным архиепископом рукоположен... Из катакомб вышел без благословения... Я ничего не утверждаю, но, думаю (так, на основе своего житейского опыта), что на восстановление храма разрешение новых властей получить надо. А чтобы служить, попу, думаю, нужна характеристика какой-нибудь немецкой спецслужбы. А спецслужба она и есть спецслужба, вряд ли чем-нибудь существенным отличается от советской. Естественно, циркуляр какой-нибудь подписать надо с обязательствами... я не знаю... о неблагонадёжных докладывать, что ли... о бандитах лесных доносить... не знаю!

— Пожалуй, так и есть, — сказал новоиспечённый.

«Ясный хрен», — согласился на печи Синенький.

— ... Немцы храмы разрешили восстанавливать, потому что им нужен мирный тыл на оккупированной территории... — сказал рассудительный поп с белесой, едва заметной бородкой. — Владыко, а ершовский настоятель не выдаст вас?

— Наверное, он предложит мне служить... Он не знает, что я — епископ. Я сошлюсь на старость и немощь, и здесь мне не придётся лукавить. Местные про отца Андрея очень хорошо отзываются. Главное, люди — за восстановление храма! От усталости валяются, а восстанавливают... и несут работающим скромную снедь. Поднялся купол, дверные своды подправили. Изнутри, на голые кирпичные стены, иконы повесили. Храм почти восстановили. Чудо? В какой-то степени — да, чудо. Андрей встаёт до зари. Сам ежедневно руководит работами. — Уар посмотрел через плечо в окно. — Вон он, храм! со светлыми заплатками и новым крестом. Отец Андрей на проповедях говорит, что и в соседних сёлах скоро храмы примут

схожий облик. Его бы воля, он бы через линию фронта перешёл и там бы храмы восстанавливал. На проповеди говорит, при Адольфе Гитлере Русь ждёт Второе Крещение, как при равноапостольном Владимире! Отец Андрей уже и в Блиновку съездил, и уже будто бы оговорено, что и там храм восстанавливать будут, а в Блиновке храм — трёхпрестольный, на пять тысяч народу рассчитан... и в Верхозовку ездил (там вообще никакой власти)...

— А кого отец Андрей поминает?

— Говорят, Сергия Воскресенского, рижского митрополита. В Ригу, слышал я, ездил отец Андрей. Если так, то и Сергия Страгородского поминает...

— Как же так? — спросил было рассудительный молодой поп с белесой бородкой, но густобородый новоиспечённый перебил:

— Что это? — И все посмотрели в окно.

— Крестный ход, — задумчиво произнёс Уар. — У них родник внизу, у озера. — А озеро в окошках будто улыбалось.

В раздумье посидели, глядя на крестный ход.

— Если дело так и дальше пойдёт, — сказал густобородый новоиспечённый, — мы как бы не у дел останемся... не нужны никому будем со своими катакомбами... — И пыливо посмотрел на Уара.

— Не верю я в благородное немецкое воинство, — сказал старец, нудимый взглядом густобородого. — Немцы здесь гости... Неизвестно пока, сколько они у нас гостить будут, но рано или поздно им скажут: «А не пора ли вам домой, гостёчки дорогие?» Но пока они здесь, у нас есть время — время, которое относительно свободно дышит по сравнению с советским. И нам надо успеть пополнить клир молодой кровью, а то наши катакомбные монастыри вымирают. А вам, молодёжи, хочется напомнить: катакомбнику, как пустыннонику, зазнаться легче, проще. Прислушайтесь к себе, прислушайтесь, каково ваше духовное состояние. Не забывайте о своих грехах! Тайну нашей веры только Господь знает! Гордынька незаметно в человека входит. Считайте себя хуже тех, кто при немцах восстанавливает храмы... и служит в них... Не ошибётесь!

Попы помолились и, взяв благословение уладыки, ушли.

— Мешок в углу забыли, — подсказал старцу Синенький, но тот промолчал.

* * *

На другой день, проснувшись, Синенький увидел в окно: на огороде кто-то окучивал картошку. Проморгался — присмотрелся... ё-моё! баба молодая! Рискнул спуститься с печи ради такого случая. У окошка, держась за подоконник, основательно сел на корточки и стал разглядывать работницу. Та окучивала неспешно, движения будто ленивые, но мотыга ловко воздвигала земляные насыпи у каждого картофельного куста.

— Это ещё кто? — спросил Синенький, думая, что старец Уар в кухне, но никто не отозвался. — А товар, прямо скажем! — вслух восхитился Синенький, продолжая разглядывать женщину. Ноги у болящего затекли. Он встал с корточек и от слабости почувствовал головокружение. Но на печь не полез, а снова, держась за подоконник, сел на корточки и продолжил наблюдение за молодой женщиной, которая уже закончила работу и повернулась к дому. Не догадываясь, что за ней наблюдают, подолом юбки утёрла пот с лица, и прежде, чем подол опал, Синенький успел заметить и белизну, и полноту женских ног. И присвистнул: — Однако... подставки! — Их белизну и полноту как будто кто-то отчеканил в уме Синенького. В сенях послышались неторопливые шаги Уара. Синенький шмыгнул в кухню. Уар, взяв мешок, оставленный накануне попами, вышел из избы. Синенький в окно наблюдал, как женщина с поповским мешком поднимается на косогор. Уар ковылял рядом и что-то говорил. — Однако... какая! — продолжал восхищаться Синенький. «Ты с такой не справишься», — подначивал бес. Синенький хотел сказать вслух скабрзность, но сдержался. Зорко смотрел женщине вслед.

Старец вернулся в келью и встал на молитву. Про женщину — ни слова.

Синенький с печи слушал шёпотные молитвы старца.

— ... как терпит меня Сын Твой? видя ложь мою, которой нет меры во мне, окаянном! какая во мне бесполезность... Даю Сыну Твоему обе-

щания и отрекаюсь от них своей жизнью... И стремлюсь к ещё большему греху... и никак не опомнюсь! — Половицы поскрипывали, когда Уар делал земные поклоны. «Как для меня читает!» — удивлялся Синенький.

Старец и не думал заговаривать о приходившей женщине. Чтобы не спрашивать о ней, Синенький спросил о другом:

— Батя! — Ему хотелось, чтобы обращение было не без весёлости. — Батя... Почему ты никогда не обличаешь меня? а? Я — кто? Я — вор (не без гордыньки)! А ты что-то помалкиваешь, не перевоспитываешь...

— Тут наука простая! Кто крал, больше не кради! А лучше трудись! По дому помогать будешь?

Синенький хотел ответить колкостью, но сдержался, не воспоперечил Уару.

* * *

Неспешными вечерами и дождливыми днями при незатухающем зёрнышке лампы старец потчевал Синенького быличками из древних патериков.

«Уши шлифует, плесень», — беззлобно ругался про себя Синенький, но старца слушал. Уар знал жития святых чуть ли не наизусть и пересказывал старинным слогом: «Послушайте в утешение ваше, для которого и слагалось убогое сочинение это». Или: «Пусть другие начинают свою речь издалека, а мы...» Или: «Что же я делаю? Зачем прерываю нить повествования?»

— ...amma Сара тридцать лет находилась в борьбе с бесом блуда и никогда не просила Господа избавить её от этой брани. Только взывала: «Господи, помоги мне!» Однажды она вошла в келью, и дух блуда сказал ей: «Ты победила меня, Сара!» А святая отвечала: «Не я, а Христос». — И без перехода обращался к Синенькому: — Хорошо, Ваня, на исповеди не скрывать своих помыслов. На то она и исповедь! И запомни, Ваня, у кого нет помыслов, те блудят... Если не будешь блудных помыслов замечать, придёшь к полному развращению, а заметишь их, оставишь грех. Исповедуй помыслы, и бесы блуда отойдут, обличённые. Их ничего так не огорчает, как открытие их планов на исповеди...

Синенький про себя усмехается: «Если я тебе все свои помыслы расскажу, — где тебя искать потом?» Но старца слушает.

— Одному подвижнику бес блуда приводил на память женщину, и монах сильно возмущался. Тогда он пошёл в дом, где умерла женщина. Открыл гроб и сказал себе: «Смотри! вот предмет, к которому влечёт тебя твоя похоть!» Обтёр хитон труп и обонял хитон всякий раз, когда бес блуда подступал к нему.

Синенький рассердился.

— А повеселее у тебя, батя, быличек нет? А то уж совсем... Ты сам-то... не всегда же монахом был... Меня опять же не в капусте нашли... всё равно подкадрить надо... на зелени поторчать...

— У попа в Милой Сердоболии пять дочек было... без нас сговорились... ну, знакомы мы были, не сразу — под венец. А от меня в молодости, говорили, потом сильно пахло (и дома говорили, и в семинарии), и я немного стеснялся этого обстоятельства. А она ничего не говорила, и я как-то через её молчание и прилепился к ней. А она рот рукой прикрывала. Я думал, у неё зубы ушербные, а её тоже, как и меня, затюкали... Печень у неё болела, и все говорили ей, что у неё изо рта запах дурной... а сколько лет рядом живём, никакого запаха дурного ни разу не почувал...

Синенький смеялся на печи.

— Ты, батя, никому больше про свою любовь не рассказывай!

— Это я так, немного шутейно. Главное, мы оказались одного духовного плана, одного духа, на жизнь и смерть одинаково смотрели. И рядом с ней я... хотя и плохонький я мужичонка, а рядом с ней себя мужчиной всегда чувствую. Не знаю, хорошо ли это для духовной жизни... При людях слово поперёк не вставит, и с глазу на глаз — не помню! Вот какая твоя мать была! Сейчас это редкость!

— Да, — согласился Синенький, — сейчас всё больше марухи ежовые... А к чему ты мне, батя, всё про монахов да про де... девст... рассказываешь?

— Ты, Ваня, сам просил помочь тебе от злости избавиться.

— А... чтобы с бабой, — никак нельзя?

— Понимаешь, Ваня, — осторожно начал Уар, — порой у человека и выбора уже нет. Чтобы от

греха избавиться, надо вести равнонашеский образ жизни.

Кроме утренних и вечерних молитв и своего монашеского правила, которое старец читал по ночам, Уар вставал на ежечасные короткие молитвы.

— ... богат я страстями... оплакивают меня ангелы, смеются надо мной бесы... — На приоконном столе, возле которого молился старец, как правило, лежали листок бумаги и огрызок химического карандаша, и старец после молитвы быстро писал слова и мысли. Бумажки с послемолитвенными мыслями нанизывались на многочисленные гвозди, торчащие из стен между икон. Както раз, когда старец вышел из кельи, Синенький попытался прочитать записи, но ничего не понял. Слова вроде бы и русские, но до того чистые, что непонятно, о чём речь.

— Отец Уар, а что ты записываешь на бумажках во время молитвы?

— Это... как бы поточнее сказать? Мысли иногда приходят во время молитвы. Если их сразу не записать, то в обыденном состоянии их уже не вспомнить. А так я запишу и читаю потом для собственного вразумления. Я же говорил тебе, что наша молитва сама в себе имеет Учителя.

На своём огороде, кроме картошки, Уар выращивал ещё два овоща: тыкву и свёклу. Тыквы вырастали большие, с переднее колесо телеги. С огорода их катали, а чтобы в подпол спустить, отнимали две половицы. Свёклу сушили... Кормились лесом и озером. На ловлю рыбную выходили в старенькой плоскодонке, со дна которой время от времени приходилось вычерпывать воду. Рядом с камышами спускали в воду плетёные морды. Любящее озеро всякий раз одаривало рыбаков невероятным количеством ершей. Из них варили уху, а плотву и окуней сушили на зиму. И на рыбалке старец Уар часто пересказывал Синенькому патериковые былички.

—... приноси покаяние ежедневно! Согрешил, тут же покайся, и Господь попалит греховный навык. И отстанет от тебя злоба твоя! Представь, что живёшь последний день, и покайся, — шептал старец, глядя на замеревший на маслянистой глади воды поплавок. Синенький слушает, а его окаменелое нечувствие усмехается. Синенький комаров на шее хлопает. — Святые отцы не боялись ставить покаявшихся грешников на место

девственников!!! Через искреннее и долгое покаяние обновляется человек даже до девства...

Синенький любил собирать грибы. Благо, далеко ходить не надо. Из дома вышел и уже в лесу. Однажды Синенький за день насобирал грибов на всю зиму. По милости Божьей мелкий дождь сыпал три дня. Порой усиливался, порой утихомиривался. Дождевые кольца на озере были видны из окна. Уар усердно молился перед Иоанном Постным, не замечая непогоды, а Синенький, устав от безделья, надел дождевик — и в лес. Шагов с полста от дома отошёл, веточку пригнул, — да ба! — и застыл, удивлённо тараща глаза. Целая поляна подберёзовиков! Поганки так густо никогда не росли. Старец подумал, что Синенький забыл что-нибудь и вернулся, а тот поставил на пол два лукошка молоденьких ядерёных грибочков. Старец уселся чистить подберёзовики, а Синенький — снова в лес. Искренняя похвала Уара подгоняла его. Росточком грибки небольшие, ни одного червивого. Синенький стал только шляпки срезать, чтобы больше в лукошках уместилось. Колени мокрые... Уже Уар уговаривает Синенького:

— Не ходи больше — умаешься. — А Синенькому не хочется полянку грибную оставлять. Пока все подберёзовики не докосил, не успокоился.

А вот ягоды собирать — мука для Синенького. Ни к бруснике не мог приспособиться, ни к клюкве. И дышалось плохо во время сбора. Тиной болотной подпахивало. Злился на ягоду, злился на жалившую осу, из которой ягода добывалась. Злила и погода. Солнце — солнце злило. Дождь — дождь злил.

Старец Уар не оставлял надежды поставить больного на путь должной жизни.

—... ты каждое дело так делай, будто сам Господь тебе его поручил. И работы не заметишь, и мысли блуждать перестанут. В мыслях дела будничные вытесняют память о Господе. И о ягодах хлопочи как о Господнем поручении. И молитва в тебе жить будет, и ягоды — в коробе. Наша молитва сама в себе имеет Учителя.

Со злостью своей Синенький расстался бы охотно, но вот ягоду собирать не любил. Однако запасы её пополнялись. Собранная клюква дозревала зимой в старых туесах, поставленных в снег. Старец варил из клюквы густой морс, шутил:

— Им стены красить можно.

Ели и хлеб. Муку иногда привозил дядя Фёдор. Картофельные очистки не выбрасывали, мельчили и — в муку. Добавляли в муку и просо. Хлеб получался ломким, похожим на комок глины. Чуть подсыхал, и его приходилось рубить топором.

— Я за тебя, Ваня, частички на проскомидии вынимаю, — с невозмутимой кротостью говорил старец, — а те, за кого частички на проскомидии вынимают, исправляются.

— Это вряд ли... — усмехался Синенький, — вряд ли я ломом подпояшусь.

* * *

Осенью старец прихворнул, и Синенький перекочевал с печи на сундук, а Уар — на печь. Как-то не спалось Синенькому, ворочался на сундуке. Ночная балда в окно прямо в глаза светит... падалочка!

— К тебе, батя, как-то баба молодая приходила... крупногабаритная такая... — с задумчивым любопытством выпрашивал Синенький. — Картошку окучивала...

Старец молчал.

— Не хочешь — не говори...

— Это Фекла приходила. Монастырь у нас в лесу. Монастырь — громко сказано. Я про себя это место пустынькой называю. Не первый год они там, за болотом, спасаются. Я сам с тобой поговорить об этом собирался, но... как-то... а тут ноги совсем уже не слушаются — стало быть, назрел разговор. Избёнка у них небольшая, обиход утешительный... вдоль стен — нары в два яруса... окошко цветами заставлено... полы чистые, не скрипучие, — в раздумье перечислял старец, точно соображая, правильно ли он делает, что доверяется Синенькому. — Сну подобны житейские блага! Одеты в тряпьё! Огородик разбили, а в основном, как и мы, лесом питаются... четверо их там... то есть уже трое... я к ним когда схожу — отслужу Литургию, когда они ко мне придут... То я отнесу им что-нибудь из съестного, то они мне принесут... Или сам рыбки засушу... Дорогу ты почти знаешь: за дальним болотом, где мы с тобой последний раз клюкву собирали. Может, когда отнесёшь что-нибудь им... Только в келью их не

заходи! На порог поставил — и уходи! — Старец помолчал, о чём-то размышляя. — У них подвиг особый... девство тяжело держать...

А Синенькому вспомнилось, как Фекла вытирала подолом пот с лица. В сознании Синенького расплывчато забелело её оголённое бедро.

— Это хорошо, что ты не говоришь ничего, не ёрничаешь... Это очень даже неплохо.

— А в чём трудность... де... ну... — Синенький не смог произнести слово «девство». Ему казалось, что и произносить его запахло. Вот слова «лимонка», «минетчица» — эти сами с языка спрыгивают, базар украшают... А то — девств... — Молодые ещё?

— Тут не в молодости дело... Страсть блудная — до гробовой доски!

— А откуда они все?

— Из Ленинграда. — Старец с трудом произнёс название города, ибо внутренне чуждался этого названия, и, как бы немного оправдываясь, добавил: — ... питерские... Старшая у них — Еннафа... Характер у неё льняной, как у твоей матери. Та по дому неслышно ходила. Всегда боялась огорчить кого-нибудь, всегда смиренно отступала. И голосом отступала... Еннафа из другой катакомбной веточки. Ей удалось из-под ареста бежать. Милиционер привёз её на какой-то полустанок, чтобы дальше этапировать по железной дороге. А у самого живот скрутило. Пока он оправлялся, Еннафа в проходящий товарняк прыгнула. А по соседнему пути другой поезд проходил, в обратную сторону. Еннафа — в него. Милиционер по другому поезду бежит, ищет её, а Еннафа в другую сторону едет. До нас чудом добралась! Вагоны все прочёсывают, документы проверяют... Да у них глаз набитый! Они сразу определяют, кто без документов. Еннафа говорит, что ей загаженные вокзалы до сих пор снятся. Мы её в Питер отправили.

— Не побоялись незнакомого человека в катакомбу принимать?

— Это не тот случай, — заверил отец Уар, но почему, не объяснил. — А провожая Еннафу, отец Николай сказал ей... мол, если совсем худо будет, возвращайся к нам... неподалёку пустынька есть. Избёнка ветхая, но век свой ещё не откуковала... потолок с подпорками, но спастись можно... Можешь, мол, и ещё кого-нибудь с собой прих-

ватить. Вот она и прихватила Феклу, Фотинию и эту... Лампадка потухла — затепли, Ваня. — Синенький затеплил. — Фекла в Питере у тётки воспитывалась вот с таких пор... — Старец высунул из-за ситцевой занавески сухую руку и опустил её, намекая жестом на росточек девочки. — И Фекла — поповская дочка. Родители в лагерях сгинули. Тётка её из детдома забрала. Приучила к молитве, в храмы на службу водила... в те, которые ещё не закрыли... в те, в которые ещё ходить можно было... Фекла подросла и решила стать монахиней, а тётка воспротивилась: «Родители сгинули, и ты — туда же!» Фекла: «Тётъ Мань, почему ты идёшь против моего спасения? Почему мешаешь мне проводить жизнь в беспорочном служении сердца?» А тётка: «Не пущу!» И не пустила. Но вскоре, исполнившись днями, отошла ко Господу. Фекла нашла старца. Служил он под омофором митрополита Иосифа, а сам батюшка был монархистом. Бывает и такое! Батюшка этот за царственных мучеников на каждой проскомидии частички вынимал, семь свечей за них затепливал... когда возможность была... А после Катакомбного Собора просил уже их о молитвенном заступничестве. И Феклу приучил. А тут — новая волна гонений на иосифлян-непоминающих. Красные хозяева устали терпеть легальную оппозицию подкаблучному митрополиту Сергию — и проредили чекисты православных в Питере... и не только в Питере... Старец под своим окормлением организовал в городе катакомбный монастырь. Еннафа, Фекла, Фотиния и Анна жили вместе в одной квартире. Другие — по другим адресам неподалёку. Фотиния и Анна молятся, а Еннафа и Фекла работают. Труды — молящимся, молитвы — трудящимся. А Еннафе и Фекле тоже помолиться хочется! А то как же! А утром на работу надо! Их уже спрашивают: «Что вы такие сонные всё время? Всё время запыхавшись?» На заводе-то не знают, что они по ночам поклоны бьют. Вскочат с утра — и бегом! Утренние молитвы наизусть по дороге читают... — Синенький по голосу Уара почувствовал, что он улыбается. — Фекла как-то рассказывала... Утром пальто с вешалки никак не снимешь! И петелька вокруг гвоздя закрутится, и само пальто вокруг других вещей закрутится... Никак, говорит, не могу пальто от вешалки оторвать! Вот что бесы делают! Я у них в Питере бывал разок. Литургию слу-

жили, причащались. Они ждали Литургию до беспаятства, но нам с отцом Николаем денежно очень трудно было до Питера добираться. Да и по советским законам не положено было... — Синенький слушал с неослабным вниманием. — Но вскоре про тщательно организованное катакомбное житие стало известно чекистам. Монашки наши в чём были, в том и убежали! Обнажил их Господь от всякого имущества. Приехали к нам вчетвером: Еннафа, Фекла, Фотиния и Анна. Отец Николай ещё жив был. С тех пор и живут в пустыньке заболотной. Тяжело им здесь... только что не в дупле, на дереве... Фотиния вообще из дворян... никогда никакого советского паспорта не имела. Говорят, из каких-то высоких дворян... чуть ли не... Ну, не знаю! Но попали наши девственницы в место спасительное. Льют там слёзы, но попечение о спасении не прекращается. Слабость пола к тому не препятствие... — Про четвёртую девственницу Уар вообще ничего не сказал, а Синенький не спросил. Привыкать стал к тому, что в катакомбах не любопытствуют. — Ты, Ваня, не думай о них со своей точки зрения. К ним не подходят мерки, какими люди в миру оценивают и судят друг друга. Они принадлежат к особому и, может быть, исчезающему роду людей, непонятному очень и очень многим, даже людям, которые называют себя православными. Образ их жизни сродни образу жизни горных сил. Они, девственницы, и за тебя молиться будут. Это очень хорошо, когда за тебя есть кому помолиться. И сам, Ваня, не теряй времени даром (его у нас всё меньше и меньше). Ты бы... — Старец попросил Синенького каждый вечер перед сном и каждое утро после пробуждения читать «Отче наш...» И написал молитву крупными буквами на обратной стороне немецкого плаката с карикатурным изображением Сталина. — Попробовал бы ты, Ваня, молиться. Человек — тварь словесная. Когда человек имя Бога произносит, — отцы учат, — становится словесным... Сейчас времена, когда отучают человека от Бога, отучают от молитвы, как от дела маловажного. А без имени Бога на устах человек только животное, скот. Сатана старается оглупить человекоев. Прогресс, говорят, наука... А вся наука на войну работает... Попробуй, Ваня, помолиться, потрудись для вечности... Православная молитва сама в себе имеет Учителя! Если не будешь вести со

своей злостью брань, бесы тебя так опустят, что сам удивишься! А пока с твоей стороны — никакого сопротивления! Полная духовная немощь! Злость — она и до убийства довести может.

«Ясный хрен!» — про себя согласился Синенький.

— ... пока бесы действуют тайно, но начнут являться в виде зверей, змей и прочей нечисти, а потом и в явном мерзком виде. Святые видят свои грехи и ангелов, а ты, если не покаешься, бесов увидишь! Иссатанят тебя, и ты либо убийцей станешь, либо сам в петлю залезешь! Но это только начало твоих мучений. Жизнь бесконечна! И ты от маленьких страданий отчаяния перейдёшь к страданиям большим. Этой муке не будет конца! Подумай, если тебе уже здесь не вмоготу бывает, то каково там? Червь неусыпающий будет поедать тебя...

— Даже так? — обиделся Синенький. — И зачем, скажи тогда, меня мать рожала? Он же, Бог-то, знал, что я блудить буду, воровать, а потом со злости убью кого-нибудь или сам повешусь! Мать моя ещё не родила меня, а Он уже знал! До моего рождения знал! И выходит (получается так!), знал, что я вечную муку терпеть буду! И за что же Он меня так? ещё не рождённого?! Ещё не рождённого к муке приговорил, ё-моё!.. Я — вор и ... прочее, но в злости своей врагу вечной муки не пожелаю! Что-то не так, батя... Ты, батя, извини, но чего-то главного ты про Бога не знаешь... И страшилки свои поповские оставь! Тут твои не пляшут! Не может Бог православный хуже меня быть!

Старец мягко рассмеялся на печке, и смех его говорил, что врасплох Синенький никого не застал, но не ожидал Уар от Синенького таких слов, а услышав, обрадовался им. Синенький чувствует, и ответ есть у старца.

— Умный Ваня (Синенький припух от такого обращения), гнев Божий и гнев человеческий общего имеют мало. Хотя и у евангелистов говорится о местах, где плач и скрежет зубов, но Господь наш есть Любовь. И не только! Исаак Сирин писал, что грешникам в геенне огненной будет лучше, чем здесь! Кто знает! Кто знает, как плохо человеку, который на себя петлю накидывает? Может, для него после этого геенна огненная местом отдыха покажется... Но тебе думать об этом не спасительно... У Фёдора

Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых» персонаж есть — Смердяков. Отца убил... Перед самоубийством у него на столе видели книгу в жёлтом переплёте. В то время, когда Фёдор Михайлович свой роман писал, в жёлтом переплёте издавалась книга Исаака Сирина. Стало быть (по Достоевскому), не остановили поучения святого человека Смердякова, — в размышлении проговорил старец. — А окажись у него на столе книжица попроще, где через строчку адскими муками пугают, глядишь, и не полез бы Смердяков в петлю.

— Что ты заладил: повесишься, повесишься... Рано мне бушлат деревянный примерять... Наговорил тут! Уши вянут!

— Ты стоишь на краю оврага, и бесам только пальчиком толкнуть, и полетишь вниз... Если почувствуешь позыв к злости, к разврату, помолись... Не могу удержаться, Господи... Сейчас пойду и буду грешить! Удержи меня, Господи! У меня самого нет сил удержаться! духовно я слаб, и бесы выют из меня верёвки... Сделай так, Господи, чтобы я не упал в пропасть и избежал издевательств бесов! А когда совершишь грех, поблагодари Бога, что не дал впасть тебе в более тяжкое состояние... Хотя бы так! хотя бы так! И попроси в другой раз отвлечь от предпринимаемого греха. Но даже если это не исполнится, благодари Господа! И не думай, Ваня, что блудные мысли — только твои. Тебя бесы уже так обработали, что ты издеательства их над образом Божиим за своё принимаешь... Дна нет этой страсти! На мытарствах редко кто шестнадцатое мытарство проходит... У меня одно время алтарница была... горбатенькая... — Синенький уже с трудом следил за словами старца, а тут, услышав про горбатенькую, встрепенулся и стал слушать внимательно. — А мне бесы так её представляли, что я чуть ли не возжелал её! В снегу валялся, чтобы брань остудить! А она догадалась и ушла из храма. Может, через её уход и от срама избавились. Я её поминаю. Сейчас не знаю, жива ли... А ты, разжигаемый огнём нечестия, и не сопротивляешься даже, и блудом своим чуть ли не похваляешься... Похвальба между слов прямо-таки прёт... Тело отдаёшь блудницам, а от них требуешь целомудрия. Сам не смиряешься...

«Психолог, блин! — ругался про себя Синенький. — Опять в цвет попал! Не люблю буквоедов! Психолог, блин!»

* * *

— ... ручей этот в самом широком месте — полтора шага, а осенью почти совсем пересыхает... а когда до болота дойдёшь, смотри в оба: келью их за лето затащило выющейся зеленью, да и деревья скрывают их пустыньку от постороннего взгляда лучше любого плетня... И почаще отдыхай, Ваня...

Заботливо благословлённый старцем, Синенький вышел рано-ранёхонько. Шёл берегом озера. По милости Божьей в воду падал редкий медленный снег. Различалась каждая снежинка. Вспоминалось оголённое бедро Феклы. Страстный, слабенький умишко Синенького, понукаемый бесами, облекал в образы и придавал оттенок реальности тому, чего он никогда не видел и чего не было на самом деле... Вдоль ручья Синенький шёл в хорошем настроении. Сырая тропка весело виляла под ногами. Ручей высветился до чёткой ясности каждого камушка на дне. Но, дойдя до болота, Синенький устал. Сердце замирало, ноги становились ватными...

— Терплю, — шептал Синенький. — Ради Господа нашего Иисуса Христа... терплю. — Мешок после привалов казался неподъёмным, нести его было неудобно до крайности. Не хватало воздуха... Угодил на кочку-ловушку. Она провалилась с противным хлопаньем. Синенький, не выпуская мешка, внадежде схватился за растущую рядом берёзку, но та оказалась сухостоем и обломилась... падла! Синенький провалился по пояс... Вылез, ма-терьясь. Мешок остался сухим. Идти стало совсем не вмоготу. Неудобство и мучение!

— Терплю! — твердил Синенький и брёл не своей походкой. Через каждые десять шагов задыхался. Отдыхал стоя, не снимая мешка с плеча. И снова шёл. Отяжелевшие от болотной жижи портки спадали. Мука идти! Но пустыньку не проглядел... Обошёл вокруг домика, больше похожего на русскую баню. «Баня пакибытия», — подумал Синенький. Избёнка почернела от времени, но ни одна сторона её не просела, вид име-

ла бодрый, стёкла все были целы. Оставив мешок на пороге, Синенький спустился к ручью по лесенке с перильцами и тут же у мостика из пяти берёзовых брёвен удобно улётся в корнях притиснутой к ручью корявой сосны. Угнездилился на срезанных сосновых ветках. «Кто-то любит в этом месте клопа подавить», — подумал Синенький и от усталости, без перехода в забытьё, сразу провалился в сон.

Проснулся от голоса... голос был женским... проспать не хотелось... вязко-смолисто пахло сосной... брызги открывать лень... но приоткрыл, глянул сквозь редкие свои ставни... Две монахини на мостике базар ведут. В большой Синенький сразу признал Феклу. Сразу мелькнуло в памяти её оголённое бедро... Рыбинка! Видение точно обещало наслаждение в будущем. Синенький ослабил. «Какой товар пропадает!» Другая не заинтересовала Синенького. Уже начала горбатиться годами... Перестарок! Плесень! Она что-то бутетенила. Впрочем, голос её был молод и понравился Синенькому. Похож на голос детдомовской воспиталки Ольги Ивановны: мягкий, как бы всегда отступающий. Еннафа, должно быть... Похоже, она Фекле патериковую быличку тискала. Похоже, они тут друг друга патериковыми быличками воспитывают...

— ...пела на клиросе, и, когда дьякон выходил на солею, вся плоть её возмущалась... Я, может, рассказывала уже? А игуменя этого монастыря была её тётка. И когда умерла племянница, тётка стала задаваться вопросом: как там она? где теперь? И видит она сон: огненные волны, и выходит из огня племянница. Игуменя ничего понять не может... «Ты же пела на клиросе!» — «Был там дьякон, — отвечает племянница, — и при виде его плоть моя возмущалась, находили на меня блудные помыслы, а я в этом никогда не исповедовалась, никогда не каялась». Вот! Она плотски не спала ни с кем, никто не дотрагивался до её тела, а враг... Надо всякий раз каяться, а у этой клирошанки...

Синенький окончательно проснулся, прислушался.

— ...в ад попала из-за блудных помыслов...

Если не открывать глаз, можно подумать, что Еннафа говорит с лесом. Только он отвечал ей порой шелестом дерев. Ветер приносил болотную сырость. Синенький хотел было уже

показаться, вылезти из сосновых корневищ, но тут заговорили про него:

— У нас тут и нет никого, чтобы плоти возмущаться. Уар совсем старенький, а квартирант его... Старец говорит, он синенький какой-то...

— Синенький? Как — синенький? Почему ты раньше не говорила, что он синенький?

— Так... я и не думала, что надо говорить... сердечник, наверное...

Синенький дал остыть в себе словам Феклы, но уже раздражало всё: и сверкающая на солнце излучина ручья, и крутой бережок, и кроткий голос Еннафы.

— ...ты на то не смотри, кто старенький, а кто синенький, — продолжал голос Еннафы. — Старенький-синенький, а враг в твоих глазах его помоложе представит, лицо подрумянит. Потому что других нет рядом! Из того, что есть враг, будет блудные помыслы лепить... И каяться, каяться надо! — продолжала говорить Еннафа, но как-то отстранённо, будто мысли её заняты были чем-то другим.

— Тётка рассказывала, в Гражданскую в одном монастыре всех монахинь понасиловали. Тётка говорила, монахини блуд в помыслах имели — вот и попустил Господь, чтобы их обесчестили.

— А в монастыри в последние времена как набирали? Кто захочет, того и берут! Мы в Милой Сердоболии жили, а у нас на огородах — соседи... У них семь или восемь девчонок народилось... всегда полуголодные... И куда их? Игуменья всех приняла. Насельницы уже старенькие — работать некому. Вот и взяла девчонок на воспитание. А девчонки-то не очень и хотели... в монастырь пришли из-за куска хлеба... А когда тело откормишь, тут не только блуд, тут всё что угодно в голову полезет! Так что будь внимательна, моя дорогая Фекла!

Синенькому плоховато вдруг сделалось, сознание даже помутилось, но провалился в забытье ненадолго. Когда очнулся, Еннафа и Фекла ещё беседовали на мосточке.

— ... Фотиния — строгая! Не улыбнётся никогда, не заплачет.

— И я иногда думаю, может, ей здесь старшей быть надо... в этой пустыньке, а не мне...

— Говорит, что ей на нарах мягко спать. Говорит, на полу буду! Вы её благословите на полу спать?

— Не знаю... В древности многие подвижницы не имели мягкой постели, — разве можно запрещать? Не знаю я! Надо с отцом Уаром посоветоваться. Какая я вам наставница? В благочестивые времена меня в монастырь, может, и на порог не пустили бы...

— Фотиния — железка!.. У неё и движения какие-то одухотворённые... Она и на женщину уже не похожа! А мне в одежке своей всегда плохо: грязным всё кажется... Так и стирала бы каждый день одежку свою... Привыкнуть никак не могу к лесной жизни!

— Это пройдёт. А место какое красивое! И как угодно для погребения!.. Старец Уар говорил, когда нас сюда привёл: «Придётся одному рабу Божьему потрудиться, чтобы привезти сюда тела убиенных за веру православных христиан...» Непонятно как-то сказал. Старец порой непонятно говорит. Может, потом понятно станет. И ещё он говорил... то ли блудник сюда придёт, то ли юношей блудных подошлют... Что ты смотришь? Так всегда было... и всегда повторяется...

* * *

К зиме Синенький снова захворал, и снова думали, что не встанет, но к Рождеству немного полегчало, даже о Фекле стал думать. В мечтах своих имел её тело. «В конце концов, — совершенно легко рассуждал Синенький, — влечение к женщине в нас Господь вложил». Старец Уар заметил душевное беспокойство Синенького.

— ...Один старец усердно молился о своём духовном сыне и увидел его душевное состояние, — сказал как-то Уар, когда в келье стало темнее, чем на дворе. — Лежит его духовный сын в постели, а дух блуда играет перед ним в виде обнажённой женщины... принимает различные позы, и их созерцанием монах услаждается...

«Психолог, блин!» — выругался про себя Синенький.

— ...ангел-хранитель монаха плакал, а монах всё больше и больше услаждался... Старец пошёл тогда к монаху и сказал: «Исповедаться тебе надо...»

Синенький хорохорился и помысла не исповедовал, даже не представлял, какими словами откроет Уару, что хочет взять Феклу.

Старец подолгу простаивал у окна, глядя на идущий по милости Божьей снег, на восстановленный по милости Божьей православный храм на другом берегу заснеженного озера, смотрел не без любования.

— Господи, может, прав ершовский настоятель? — шёпотно спросил Уар. — Нет мочи налюбоваться! — Блестящий на солнце снег и мороз делали храм невесомым... любящим... Рядом с ним всё казалось ясным и чистым... любящим... Молоденькие стволы берёзок солнце не окрашивало, а ветки казались рыжеватыми... любящими... А за холмом, на котором уютно угнездилась Ершовка, благородно белел лес... любящий... — Господи? — шёпотно спросил старец, глядя, как деревенский люд идёт на службу.

Сидел на чурбаке у печи и, наблюдая в открытую дверцу, как языки пламени затягиваются в дымоход, шёпотно спросил через потрескивание дров:

— ...может, так и надо, как отец Андрей? — Закрывал дверцу и снова шел к окну посмотреть на храм. Белым-бело, как на голове самого Уара. Хотелось смотреть и смотреть на белый мир с крестоносным храмом.

На Рождественскую службу из пустыньки в Уарову келью приходили монахини, исповедовались, причащались. Еннафа часто прикладывалась к образу преподобного Серафима Саровского со старообрядческой лествичкой в руке и приговаривала:

— Люблю Серафимушку... Я такая же согнутенькая, как и он... — И целовала Серафимову руку с лествичкой. Пели монашки ясно. Синенький понимал всё, о чём они пели. На исповеди Синенький обозначил свой помысел двумя словами... мол, есть такой... Уар кивнул и прочитал молитву. Синенького причастили на печи. Плат держала Еннафа. Синенького немного смутил её долгий взгляд, когда она утирала ему уста. Но треснуло в печи полено, и Еннафа, вздрогнув, отвела изучающие глаза.

Монашки покидали келью Уара радостные, говорили, что посетили островок радости нетленной. Синенький недоумевал: «Какая тут, блин, радость?!» Фотинию Синенький видел в первый раз. Она ему не понравилась. Точнее, не понравилась её нижняя губа, выдвинутая

вперёд с капризным видом. Так-то она ничего из себя! есть за что подержаться! Но — барынька! Когда уловила на себе взгляд Синенького, прикусила самолюбивую верхнюю губу... На прощание Еннафа сказала Синенькому:

— В «Древнем патерике» читала: шёл монах по пустыне и от боли плакал. Упал и взмолился: «Господи... исцели моё сердце! И я тебе буду служить, как должно служить монаху!» И встал исцелённый! И служил всю оставшуюся жизнь, как должно служить монаху!

— Намёк понял, — улыбнулся с печи Синенький. Выходя из избы, Еннафа ещё раз долгим взглядом посмотрела на Синенького, точно сравнивая с кем-то. С крылечка позвала старца Уара, и они, пока Фекла и Фотиния завязывали крепления лыж, долго шёпотно о чём-то говорили. Монахини ушли в пустыньку уже по тёмному.

* * *

Когда весенняя капель вдоль завалинки породила длинную тонкую чистую лужицу, а в сених, где капало, поставили пустые консервные банки, пришла к старцу из Ершовки белобрысая девочка — тихая, худосочная и некрасивая.

— Какая хожалка у нас! — мягко хвалил Уар девочку. — Какая Наденька взрослая стала! Одна по лесу дошла, — не страшно? — спрашивал старец, помогая девочке снять пальтишко.

— Нет, не страшно, — тоненьким голосом отвечала Надя, усаживаясь за стол напротив старца. — Я опушками шла, по берегу озера.

— А если встретил бы кто?

— Тятя велел говорить: «Иду к отцу Уару... У тяти нутро болит, а молитовка Уара ему помогает. Вот и блинов несусь!» — И поставила на стол стопку блинов в миске. — Только миску мамка велела домой принести.

— Ты и миску возьми, и блины. На обратном пути съешь! — Уар поставил блины в Надину котомку.

— Тогда я дома с Колькой и Веркой подеюсь, а то я и так, пока к вам шла, украдкой один блин съела... не утерпела! Больше одна есть не буду! Только мамка всё равно ругать будет, что я блины обратно принесла, — дело-

вито говорила Надя. Серенький платок сполз с её головы и спокойно лежал на худых плечах.

— Как там, в Ершовке, служат в храме?

— Служат... каждое воскресенье... И отец Андрей, и дядя Фёдор стараются, — как взрослая, отвечала Надя. — Слава Богу! После Литургии молебен Адольфу Гитлеру служат.

— Что за нужда привела к нам?

Надины большие белесо-голубые глаза недоверчиво посмотрели на печь, где лежал Синенький. Старец, успокаивая девочку, спокойно кивнул.

— На Пасху-то службы не будет! — Надин голос задрожал, будто она собиралась заплакать.

— Как так?!

— Вот так! Немцы надумали красных военнопленных на Пасху в храм привести, и отец Андрей объявил, чтобы на службу не приходили. Немцы побаиваются, что партизаны бомбу кинут и пленные разбегутся, поэтому на Пасху велено всем по домам сидеть. Дядя Фёдор и отец Андрей говорят, красноармейцев голодными пригонят. Говорят, чтобы хоть что-нибудь им собрать в честь праздничка, чтоб хоть по картошке в мундире каждому досталось... червячка заморить... немцы с нас яйца собирали для причастников, а отдадут или нет, неизвестно, может, сами слопают!

— Всё для фортецелла! — вырвалось у Синенького. — Как при коммуниках, блин!

— Вот тятя и послал меня к вам, чтобы спросить... может, вы у нас дома, как раньше, отслужите на Пасху? Ну, чтобы не знал никто... и причастились бы... А то как-то плохо на Пасху без службы... — продолжала деловито Наденька. — Тятя говорит: «Мы уже приучились...»

— Что ж, отслужим! так и передай... — Уар обрадовался приглашению и не скрывал, что обрадовался. — Пусть в субботу в лесу, на задах ваших, встретят... как и раньше... на том же месте, в устье речушки... поможете лодку припрятать... Вокруг озера идти у меня сил нет...

— Тятя сказал, что в субботу поздно будет... автоматчиков нагонят... Тятя говорит, лучше в пяток...

— Пусть будет так!

Надя замялась и потупилась. Лунно-бледное личико девочки стало бледновато-розовым.

— А вы Адольфа Гитлера тоже поминать будете?

Синенький крикнул на печи.

— Нет, Наденька... Это необязательно, — уклончиво ответил отец Уар.

— Тогда я и молитву за него учить не буду? — полувопросом произнесла Надя и подняла острые плечи.

— Молитву? Что за молитва?

Надя снисходительно посмотрела на отца Уара, будто сказала большими бирюзовыми глазами: «Совсем вы в своём лесу одичали, отец Уар!» Уар рассмеялся беззвучно.

— Правда твоя, Наденька, одичал... ей-Богу, одичал!

— Я начала не помню... Адольф Гитлер — ты наш вождь... имя твоё наводит трепет на твоих врагов, которые посягнули на Господа Бога... да осуществится воля твоя на земле... — Надя запуталась. — Ну, чтобы рубиновые сатанинские звёзды слетели с башен Московского Кремля... У меня дома на бумажке написано...

— Поскольку я одичал в лесу, мы эту молитовку читать не будем, только ты никому, Наденька, не говори об этом, а то поругать могут...

— Нечто я не понимаю? — важно сказала Надя, но в лице её — недетская серьёзность. — Что я, маленькая, что ли? Конечно, не скажу... — Надя улыбнулась и тут же спрятала свою улыбку, будто улыбнулась без спроса. — Отец Уар, а немецкий крестик с загнутыми концами крестом считается?

— Нет, Наденька, это не крестик... это солнышко. Оно, конечно, не пята ведьмы — звезда пятиконечная, но и не крест.

— Вон оно что... Надо хорошенько это запомнить... — очень серьёзно сказала Надя.

— Ты, Наденька, читай молитовку Иисусову. Огонёк Божий зажигается в сердце от молитвы Иисусовой. Переплавит в тебе всё этот огонёк, и Господь одухотворит тебя. Непросто зажечь этот огонёк в сердце... Порой как бывает: хочешь затопить печь, а не можешь, потому что дрова сырые... и не горят! Нет огонька... Что надо делать?

— Принести сухих дров, — охотно отвечала Надя.

— И огонь от них просушит сырые дрова, и загорятся и они. Огонь устранил сырость... Дрова —

это мы... Пока мы не радеем о Боге, противимся огню духовному, сырость порабощает нас, держит нас в своей власти...

Проводив Надю, старец долго бесшумно ходил по келье.

—... удивляюсь я им! и что они так к властям льнут? Власти уже откровенно антихристу престол строят, а они всё время при ней! Не пойму я их! Какая польза Церкви от упражнений иерархов в угодничестве властям? этим Губельманам? этим Кагановичам? За всю историю христианства на Христа столько помоев не выливали, как при них! С нами в лагере дьякон-сергианин сидел... Всё у него спрашивал... понять хотелось... почему он красного прислужника Сергия Страгородского поминает? А дьякон мне отвечает: «Ваше сердце, отец Уар, не может вместить заботы Сергия Страгородского о Церкви. Вам не дано этого понять! Не дано понять путей Божьих, которые понимает Сергей Страгородский! Церковь всегда должна быть при власти!» Умер дьякон в лагере... баландой тюремной захлебнулся... Может, я и правда чего-то главного не понимаю? «Подвиг Сергия Страгородского по спасению Церкви, — говорил дьякон, — это не подвиг в славе, а подвиг в унижении...» Церковь — это Господь наш Иисус Христос, ангелы и люди — народ церковный. А он, Сергей Страгородский, всех лакеям антихриста сдал! Осталось при нём человек пять таких же, как он. Народ церковный под корень вырезается, а он с похвалой к этим властям! А мучеников за веру у нас нет, по Сергию... Нет — и всё! — Старец Уар остановился перед иконой Спасителя. — А может, и правда, что я не вмещаю чего-то главного? Может, весь разговор мой сродни болтовне безумных старух? — Старец повернулся к печи. Синенький внимательно его слушал. — Гитлер пришёл — ему молитву придумали! Благословляют его на борьбу против ига жидовского... Вот, дескать, немец Москву возьмёт, и тогда мы...

— Сталин и Гитлер правильно всё делают, — отозвался с печи Синенький уверенным голосом, и Уар сразу пожалел, что выговорил вслух свою тайную муку. — Они на бога вас всех взяли... запугали... Сильны, бродяги! Гнуть умеют! Слабых гнут... Всё, как в воровском мире... Один к одному... А что же вас всех не погнуть, если у

вас очко минусует? В болвана играете, трусость свою за смирение выдаёте... Сам рассказывал... Царь Пётр показал иерархам кортик: «Вот вам патриарх!» И все на ширлы встали перед новым «патриархом». Кто не заглох или погаситься не успел, тех вглухую заделали! Вот и вся история вашей Церкви, батя...

Бровь Уара дрогнула.

— Теперь все церковники с этого Сергия пример брать будут. Плюй на своих, дави, сдавай! Своя шкура ближе... Новая заповедь! А вы всё про мучеников убиенных за веру друг дружке уши шлифуете! Вот где, дескать, история Церкви! Может, и была когда...

— Многое, сказанное про одних, исполнится на других...

— И стучать друг на друга вас приучили. Он — воркун, падло батистовое... брата своего во Христе сдаёт, а сам, поди, про себя думает: «Апостол Пётр трижды от Христа отрекался... и покаялся! А тут человечка сдать надо... хрен с ним, с человечком! и с двумя — хрен с ними! и с тысячьо! И с десятками тысяч! тоже хрен с ними!» Может, ты, батя, этого не вмещаешь? Не убий — отменили уже? Что молчишь, батя?

— Кто-то для себя уже, может, и отменил, — неожиданно жёстко заговорил Уар, — как ты для себя «не укради»...

— Я — вор, — с гордостью сказал Синенький и с ещё большей гордостью добавил: — Я в святые не лезу! — И, впервые почувствовав запах гордыньки от своих слов, разозлился на себя и отвернулся к стене. Откровенный разговор резко прервался. Тут скрипнуло крыльцо, и Синенький обернулся на этот скрип.

* * *

Дядя Фёдор снял фуражку и перекрестился.

— Боже, сохрани! — Взял благословение, уселся на лавку. На коленке пристроил фуражку. Взгляд Уара заметил на портках гостя аккуратную заплата, сделанную женской рукой. Дядя Фёдор поговорил о деревенских новостях...

О восстановлении храма:

— ... иконостас закончили... не резной, как раньше, но... туда подальше, может, и резной сделаем...

Об отце Андрее:

— ...для Блиновки попа рукоположили по его хлопотам... Отец Андрей в Блиновке молитвенный дом открыл... храм... люди не любят, когда их храм молитвенным домом называют, как у баптистов всё равно... А отец Андрей хлопочет, чтобы и в Блиновке каменный храм восстанавливать начали! Храм у них там большой, три престола, на пять тысяч рассчитанный...

О человеке из заготзерна, который ещё осенью часть предназначенного для отправки в Германию зерна забраковал:

— ...вот подсохнет немного, привезу вам мешок...

Синенький со злорадством думает: «Зерно-то ворованое! Неужели Уар не откажется? Не укради, блин!»

— ...оно, конечно... я в житии одном читал, даже если у жида своруешь, грех! — как бы извиняясь, говорил дядя Фёдор. — Мы с большой нуждой и при советской власти никогда не знали, как послушаешь, другие люди... Так ведь голодногато, отец Уар! И человек этот для своих, для крестьян, старается. Понятно, мимо него не проходит. Но в голодное время — нуждающемуся? разве грех? Если голодных ребятишек постом накормить курятиной — разве грех? Я так понимаю...

— Всё ты хорошо понимаешь, Фёдор Фёдорович, — с почтительностью сказал отец Уар, и все вещи в келье будто почтительно поклонились дяде Фёдору. — Только ты не за тем пришёл... озачен ты чем-то, даже огорчён...

Дяди Фёдорово лицо, казалось, непроницаемое — толстый блин, усыпанный гречневой кашей, — дрогнуло.

— Пришло письмо непредполагаемое... из Германии... от дочки моей, Татьяны... — сказал дядя Фёдор дрогнувшим голосом. Толстыми негнушимися пальцами с неухоженными ногтями достал из кармана фуфайки письмо и осторожно развернул его. Чистой тряпицей вытер взмокшую шею и надел очки. Виногато сдвинув колени (фуражка упала на пол), дядя Фёдор стал читать:

— Здравствуйте, дорогие мои тятя и Гриша! Передаю вам сердечный поклон и желаю доброго здоровья... Сообщаю вам, что живётся мне здесь невыносимо тяжело. Я в советских лагерях не си-

дела, но думаю, что моё положение ненамного лучше, а может, и хуже! — Дядя Фёдор пытался себя успокоить, но получалось плохо. Он ближе и ближе пододвигал к лицу письмо, будто пытался согреть дыханием дрожащую бумагу. — Живём в большом бараке за забором... во дворе большая уборная... На работу погонят, тогда ворота открывают, а так выходить не велят! Работаю на фабрике, шьём всякую всячину... Я потеряла надежду вернуться домой... На воротах всегда замки... И гложет меня тоска, такая тоска, что молитва не помогает. Домой возвращают только смертельно больных. И я теперь денно и ночью молюсь, чтобы мне заболеть...

Уар слушал, глядя в окно на оловянную полоску воды у берега.

— ... Тятя, Гриша, напишите, как вы там сами. Я прочитаю, и мне не так тошно будет. В бараке многие письма получают, а я ещё ни одного письма от вас не получила... Ваша любящая дочь и сестра Татьяна... Тятя, сходи на тот бережок к отцу Уару, если он жив ещё... Он — умоленный, может быть, прозорливый, может, скажет тебе, вернусь я домой или нет... А если вернусь, то — когда? — Дядя Фёдор осторожно сложил письмо, снял очки и поднял взгляд на старца, взгляд с непривычной слезой.

Уар обернулся от окна.

— Фёдор Фёдорович, дорогой, не прозорливый я! не оракул! Не знаю! — И перекрестился. — Не буду тебя обманывать... Не знаю!

Дядя Фёдор поёжился, будто его донимала сильная зябкость.

— ...я — не Дух Свят, но помолюсь... и за дочь твою, и за тебя, и за жену твою, Марфу-покойницу...

— Кто бы мог подумать, что так обернётся, — немного успокаиваясь, проговорил дядя Фёдор. — С радостью на работу в Германию ехали! До станции — на машине, с песнями! Как же, марки платить будут! Раскатали губищи! И Григорий мой, отец Уар, меня беспокоит... И мельницу нашу обратно нам отдали! Он, мальцом, на мельнице днями пропадал... Поначалу чуть ли не вприсядку пошёл, а потом... восстанавливает, но как-то без особой охоты... Всё равно, говорит, партизаны пожгут! И тоска у него какая-то... И к вину прикладываться часто стал... Тошно ему, как я понимаю, потому что без Бога...

Мне-то, говорю, почему не тошно? Не вот прям как хорошо, но не тошно же! А ему — тошно! А в храм не идёт! Сколько говорю ему и про исповедь, и про причастие — не идёт! И слышать не хочет! Не верит, что жизнь будет за гробом, когда тело умрёт. А скажешь, материться начинает, хоть святых выноси... И слышать не хочет! Надоел, говорит, со своими поповскими баснями! Ты уж прости, отец Уар, что так говорю... Отцу Андрею и неудобно как-то про такое говорить, а тебе — как на духу... И разговаривать со мной перестал. То кричит, как ошпаренный, а то живёт так, будто я для него чужой... Получил жалованье, накопил себе в магазине, на станции, всякой всячины и ест один... а у меня желудок болит... сидит и ест один, а я тут рядом, — это как? Я пока сам себя обслуживаю... не голодный, но ты хоть предложи отцу! Я откажусь, но ты предложи! А тут это письмо от Татьяны... Гришка выпил и укорил: «Почему, мол, Таньку не отговорил?» А я знал?! Они вон как агитировали! И сама хотела Германию посмотреть. Посмотрела! Раскатали губищи!

— Оно так, Фёдор Фёдорович. Бесам тошно, что ты храм восстанавливаешь!

— Да... вот ещё о чём... Мне предложили стать старостой деревни, — ты как, благословишь? всё равно, мол, старостой храма избрали — справишься, говорят... Немцы предложили...

— Если осознаешь, что это крест, то благословляю! Превратишь его в Крест Христов, можешь и до крови пострадать — на небесах мзда твоя большая будет...

* * *

Старец захворал после катакомбной Пасхальной службы в Ершовке. Домой вернулся не с розовым, а с тяжёлым густо-малиновым лицом. С трудом забрался на печь и не слезал с неё всю Светлую Седмицу. Но в Светлый Пяток слез, долго шаркал по келье в валенках с обрезанными голенищами, разминал затёкшие ноги.

— ...интересно, как там отец Андрей с пленными красноармейцами отслужил... как там всё... — И согнулся, чтобы в оконце глянуть. — Да ба! Он здесь!

— Кто? — не понял Синенький. — Кто здесь?

— Да отец Андрей! какой-то бледный...

— Он всегда бледный... — Синенький полез на печь, приговаривая: — Терплю! ради Господа нашего Иисуса Христа... терплю...

— Ты уж, Ваня, забудь ему тот случай... Он, поди, и сам не рад! — В окно было видно: по тропке от калитки к порожку широким шагом идёт чернородый священник.

Грачи на прибрежных деревьях вили гнёзда, и, когда ершовский настоятель отворил дверь, в избу ворвался грачиный гомон. Отец Андрей перекрестился на образа, облобызался со старцем, вставшем ему навстречу. Повернувшись к печи, ершовский настоятель поклонился Синенькому. Тот внутренне смутился.

— Иван, прости меня ради Христа... по немощи... не держи зла... — И глянул пристально раскосыми глазами. Синенький хотел сказать: «Бог простит...» Как положено, но почувствовал, что прозвучит фраза в его исполнении не то чтобы неискренне — натянуто, и сказал более для себя привычное:

— Ладно... проехали!

Священник угнездился на табурете. Он уже нетерпеливо покашливал, прочищая горло, и становилось ясно: сейчас из него пойдут слова. И они пошли:

— Ко мне на Пасху немцы пленных красноармейцев приводили, — сказал отец Андрей, и голос его казался радостно-победным. Солнечный блик лежал на полу у ног отца Андрея. — Это ведь я хлопотал, чтобы немецкие власти разрешили причастить пленных красноармейцев. Бог знает, чего мне эти хлопоты стоили! Немцы согласились, но поставили одно условие... чтобы прихожан на службе не было... Я уж и не рад и поперечить не могу, потому как согласия властей столько уже добивался! И храм полон будет, и может так случиться, что некому будет ответить: «Воистину воскрес!» Отказываться уже поздно... Привели пленных... овчарки лают... Я, батюшка, терпеть не могу этих конвойных псов! По советскому лагерю ещё! Псы, правда, молчат... удивлены, наверное... никогда такого не видели... Построили немцы красноармейцев парами и завели в храм, а вокруг храма — немецкие автоматчики. Прихожанок из дальних сёл останавливают полицейские (со станции Гришке на подмогу

прислали по такому случаю) — народ назад заворачивают... н-да... Отодвинул я катапетасму и глянул из алтаря: храм полон. А сердце жалось: измученные все, лица серые, бородами обросшие... Уничужденный вид странников неприкаянных! Бородатые, обтянутые кожей скелеты... Немец-офицер пренебрежительно смотрит на всех и всё. И неизвестность мучает: может, и причащаться откажутся красноармейцы... может, как в пустом храме буду возглашать: «Христос воскресе...» Прости, Господи! Выхожу к Плащанице... псаломщица ирмосы поёт, я канон читаю, а спиной чувствую: пусто в храме! Знаю, полон храм, а от чувства одиночества избавиться не могу. Из-под палки людей пригнали... Крестный ход! Из храма выходили, псаломщице шепнул: «Если что, за всех возглашай: «Воистину воскресе...» Мимо автоматчиков идём... пленные наши за нами идут... Псы молчат... ни разу не гавкнули... И тут немецкий офицер достаёт пачку сигарет, зажигалку в кулак спрятал, от ветра отвернулся и прикурил... Я тут не выдержал! Псаломщица моя поёт, а я... и сам, главное, просил пленных привезти! и прихожан моих на Пасху не пустили! и бабулек из дальних сёл развернули! и псы того и гляди! и пленных пригнали, как нас в лагере на политинформацию! и вдруг никто не ответит: «Воистину воскресе...» А тут ещё офицер... мы Крестным ходом идём, а он закурил! И я громким голосом по-русски прикрикнул на него:

— Бросьте сигарету, господин офицер! Крестный ход идёт, а вы!

Офицер растерялся, понял, что не так что-то делает — догадался, что курить нельзя, тут же выбросил сигарету и затоптал. А я, батюшка, через фелонь почувствовал уважительные взгляды наших пленных... — Отец Андрей расчувствовался, приложил две ладони к глазам и размазал слёзы по своему монгольскому лицу. — Через фелонь чувствую эти уважительные взгляды. Удивило пленных, что я прикрикнул на немецкого офицера, и обескуражило, что он послушался русского человека. И чувствую спиной через фелонь, как весь ход ко мне поближе старается... будто подо мной островок свободной русской земли перемещается... прижались бы... И я чувствую хребтом, что хотят люди прижаться. А у меня голос прорезал-

ся... только всех тропарей наизусть не знаю ещё — на будущий год обязательно выучу! — Отец Андрей шмыгнул носом. — А когда вокруг храма обошли и у дверей с псаломщицей пропели «Христос воскресе»... оборачиваюсь к красноармейцам, оказываю их и — громко: «Христос воскресе!» И не успела моя псаломщица ответить, как дружно мои новые прихожане выдохнули: «Воистину воскресе!» — Тут слёзы полились из раскосых глаз отца Андрея. — Вот и сейчас плачу... И тогда плакал... Красноармейцы! Причащал души нетвёрдые... Ершовские собрали пленным кое-что... Всем, понятно, не хватило... От чистого сердца! Тут псы залаяли... Не могу я псов этих конвойных терпеть! — Отец Андрей помолчал немного, успокоился. — Я к тебе, батюшка, вот по какому делу... — Он шурился от солнечного блика на полу. — Мы ищем заштатных клириков, тех, кто не имел возможности служить при советской власти... Храмы открываются, а попов нет! Когда ещё в Прибалтике семинария попов начнёт выпускать! А причащать народ надо уже сейчас! Одного батюшку рукоположили по моей рекомендации. Кадило научил его держать. И чувствую, из-за куса хлеба он согласился! Это не дело! В Ершовке вас знают и относятся к вам с большим почтением... и не только в Ершовке...

— Не буду вас обнадеживать, батюшка... — перебил говорившего отец Уар. — Не помощник я вам. Сил у меня нет! Так, придут ершовские, помолиться попросят — помолюсь. Я — не Дух Свят, а помолюсь. Соборую кого... Преждеосвящённые Дары есть у меня... лет на десять заготовил в своё время... Сил нет... день хожу — день лежу.

— Если бы вы согласились служить в Ершовке, я смог бы сделать гораздо больше!

— Не могу... И вас подведу... И не просите... Я чувствую, что надо помочь вам, но не могу — простите ради Христа... Хвораю по старости — и слава Богу! Господь грехи мои чистит.

«Смущается батя, — думал про себя Синенький, поглаживая доски потолка. — Этот поп Андрей, может, знает, что батя Пасхальную службу в Ершовке служил...»

Солнце радостным жёлтым бликом отражалось у ног ершовского настоятеля.

— А приходы так и будут открываться! Только при натиске вермахта покинут поджидки какое-нибудь село, тут же начинает возрождаться православие! Раньше немцы не препятствовали, а теперь... — Отец Андрей почему-то понизил голос до шёпота. — А как их у Москвы остановили, помогать стали...

Синенький слушал и ласкал пальцами гладь потолка, а ершовский настоятель продолжал склонять старца к служению в ершовском храме:

— ... прихожане жертвуют от скудости своей... но и лошадку могут пожертвовать, и коровку... немцы священникам участки земли выделяют... с постройками... Никаких препятствий! Понятно, немцы — не ангелы-спасители, но и не жидовские комиссары! Слухи ходят, Гитлер крестьян землёй наделять будет!

— Большевики тоже сулили...

— Ну... это... На всё — Божья воля! Сейчас при немцах миллионы уже покрестились. Миллионы! Мы понимаем: покреститься нетрудно — трудно жить по-христиански... но всё равно... много покрестилось! — Отец Андрей от своих слов снова повеселел. — Священники сейчас — истинные миссионеры... Это у нас здесь относительно спокойно, а... Бесстрашные люди! Оставляют тихую Прибалтику и — под партизанские пули... Монашество возрождается! Богдельни при монастырях открывают... Дух в этих людях первохристианский! И я, батюшка, верю, что солдаты вермахта освободят Россию от самого бесчеловечного ига. Верю, что власти безбожников придёт конец! Можно сказать, что на наших глазах второе крещение Руси совершается! Воистину Второе Крещение! При Адольфе Гитлере...

— А вам, отец Андрей, партизаны не угрожали? — участливо спросил старец.

— Пока нет... Приходили разок в храм незнакомые лица... в притворе стояли — слушали, чем-то недовольные... баба с ними молодая с мужскими скулами... — И когда ершовский настоятель произнёс «молодая баба с мужскими скулами», старец вздрогнул, немного ссутулился и нахмурил брови. И продолжал слушать с нахмуренными бровями, как бы ожидая услышать что-нибудь ещё о молодой бабе с мужскими скулами, но ничего больше не услышал о ней, и переносица старца постепенно разгладилась. — ... вынюхива-

ли, наверное, не агитирую ли я против них... А я на ектенью погромче, чтобы и в лесу слышно было, басом (отец Андрей выпрямил стан): «Еще молимся за Адольфа Гитлера, фюрера германского, и за благородное войско его, освободившее нас от ига безбожников». — Лицо ершовского настоятеля по-мальчишески свежо засияло. — Фёдор Фёдорович, староста наш, сказал мне потом, что партизаны и партизаниха их позеленели от злости! Я им ещё проповедь прочитал. Проповедь не моя, а одного архимандрита — человека, отмеченного печатью святости. Совсем скоро, говорю, воины вермахта скинут со стен московского кремля сатанинские звёзды и откроются пути свободных глаголов о Господе. Но не забывайте, что русскому народу за его отступление от Бога, за предательство иудино, предстоит пройти через многие унижения. В том числе и от германских властей... Русский народ очистится этим унижением, а потом возвестит всему миру Евангелие своими чистыми устами!

— Может, это и не партизаны были? Может, в гости к кому приезжали?

— Партизаны... Я их чую... — Отец Андрей старался казаться беспечным, но у него плохо получалось. — У них в глазах, — как бы это сказать? — будто я их обманываю... Они, дескать, не такие дураки, как я, дескать, о них думаю... Дескать, шлёпай, поп, губой, шлёпай! Нас не обмануть! Родная советская власть нам на всё глаза открыла!

— Знакомо, — вздохнул отец Уар. — Отец Андрей, а кого из иерархов вы на Великом Входе поминаете?

— Сергия Страгородского (что в Москве) и Сергия Воскресенского (что в Риге).

— Один — с большевиками, а другой — с немцами?

— Именно так! — сказал ершовский настоятель таким тоном, будто был уже недоступен укоризнам. — И Сергей Воскресенский поминает Сергия Страгородского, хотя тот и отлучил его за сотрудничество с немцами, но это отлучение — дань безбожным властям... А немцы, между прочим, заставляют Сергия Воскресенского отделиться от московского начальства, только ничего у них не получится! Сергей Воскресенский будет стоять за единство Церкви... даже до смерти! Понять надо, понять и попытаться вместить в се-

бя: там, в Москве, Сергей Страгородский и не может вести себя иначе при иудо-большевиках! Понять и вместить! Он — не светский герой, а архипастырь, ратующий за сохранение единства Церкви. Это у светских людей героизм всегда немного навыхволку! Это я не вам, батюшка, а Си... Ване. Вы это и без меня знаете!

— Я, отец Андрей, не молюсь за московский кагал, — тихо возразил старец, и грачи за окном вдруг примолкли, смолкло всё вокруг, перестало шевелиться, и воцарилась чуткая тишина. И в ней прозвучали чёткие слова старца Уара. — И митрополита Сергея Страгородского после его холуйской декларации ни разу не поминал! Гордиться особо нечем, но всё-таки... А территории под немцем трудно назвать освобождёнными... язык не поворачивается! Почему никто не хочет сказать очевидного? Германские языческие орды вторглись на территорию русского каганата, где в последние десятилетия православие выкорчёвывалось с сатанинской жестокостью. Сталин и Гитлер — два рожка антихристов! Человекоядцы! Когда вы молитесь, отец Андрей, неужели вы не слышите, как кричат души красноармейцев, когда их убивают? Кричат души православные... Что это за добродетель, когда она остаётся глухой к страданиям ближних? Миллионы! Гибнут миллионы!

Отец Андрей усмехнулся, усмехнулся с превосходством, которое рассердило Синенького на печи.

— Я, батюшка, хочу напомнить... воевал и в царскую войну, и в Гражданскую... И награды от царя-батюшки имею... Так что о смерти на поле боя представление имею... я у пленных красноармейцев не спрашивал... а у вас спросить хочу... Что же это за православные, которые за безбожную жидовскую власть воюют? Почему воюют за тех, кто поднял руку на Самого Господа Бога? Красноармейцам пленным не сказал, а вам скажу! Их кровь льётся сейчас за тех лучших русских людей, которые всё ещё сидят в сталинских застенках! за тех, кого ещё не успели уничтожить иудо-большевики и их русские прислужники! за тех, кто молится сейчас по тюрьмам, лагерям, ссылкам, в святых катакомбах... молится по невинно убиенным жертвам! Как вы сказали? что же это за добродетель? Видно, ваша добродетель, отец Уар, забыла, как перед самой войной иудо-

большевики несколько миллионов русских крестьян уничтожили! Как их души кричали, вы, отец Уар, не слышали? Или забыли? Или эти крестьяне православными не были? Или палачей их уже из московского кремля выгнали?

Грачи снова загомонили.

— Церковь выше всего мирского! — продолжал ершовский настоятель. — И выше этой войны! Рано или поздно она закончится. Непонятно, почему я должен объяснять вам прописные истины... И с вашей подачи, отец Уар, будут ругать Сергея Страгородского за то, что он к красным комиссарам под каблук залез и холуйствовал... без так называемого смиренного христианского достоинства. С вашей подачи, отец Уар, будут ругать Сергея Воскресенского за то, что он под германцев прогнулся... А сами ругатели, — все! — все!!! — будут крещены благодаря этим двум Сергиям!!! Благодаря тому, что на земле в наши безбожные времена живут два этих человека! которые за видимым человекоугодничеством скрывают своё великое смирение, а может быть, и святость! И устоит Церковь! Вы, отец Уар, знаете посмертную историю царя Трояна?

— Признаться, не слышал...

— Троян... Злостный гонитель христиан, верховный языческий жрец... Однажды Григорий Двоеслов, Литургию которого мы служим Великим Постом, узнал, что к императору Трояну обратилась в своё время вдовица. Видно, того носили по городу на носилках, и вдовица, улучив момент, вынырнула из толпы и обратилась к императору со своей болью... может, как по-другому было — не знаю! Вдовицу обидели чиновники, и Троян заступился за вдовицу... Когда Григорий Двоеслов узнал молитвенно, что душа Трояна как гонителя христиан угодила в ад, стал молиться о ней. Молился усердно, и было святому Григорию откровение: явился ему Ангел Господень и сказал: «Твоими молитвами прощены грехи императору Трояну, а твоими молитвенными слезами он крещён за гробом...» Вот так-то! Такая посмертная история! А Адольф Гитлер — строитель и почитатель православных храмов. Адольф Гитлер — это не Троян... Адольф Гитлер, между прочим, ни разу не назвал коммунизм русским, а только иудо-большевицким... И во всём мире — во всём мире! — вдумайтесь, отец Уар, — во всём мире нет силы, способной проти-

востоять этому мировому кагалу! Если бы Григорий Двоеслов жил в наши дни, он бы ежечасно творил молитву за Адольфа Гитлера!

— Вы, отец Андрей, наделяете Гитлера своим видением мира. Это ошибка! Это опасно! Пангерманизм Гитлера существенно отличается от вашего пангерманизма. И не надо забывать, когда вы молитесь за тирана, у которого руки по локоть в крови, вы становитесь участником его преступлений. И если Сталин и его партия уничтожили в России людей больше, чем Гитлер, это ещё не повод молиться за последнего...

— Сталин больше на Трояна похож, — вдруг сказал с печи Синенький.

— Ты про то, чтобы за Сталина молиться? — спросил отец Андрей, не понимая реплики с печи.

— Нет... — усмехнулся Синенький. — Я не про молитву... про то... если Красная Армия вернётся, ты эту сказку про Трояна чекистам сможешь рассказать. Глядишь, и не расстреляют! А то и при Сергии Страгородском служить предложат, — почему бы и нет? Ты же его поминаешь...

— Позиция ваша ясна! — Отец Андрей с досадой хлопнул себя по колену. — А я рассчитывал на вашу помощь, отец Уар... но вижу...

— Чтобы при немцах служить, отец Андрей, с немцами сотрудничать надо... — осторожно проинёс старец.

— Ну, к куда деваться? — легко ответил ершовский настоятель.

— Говорят, попы, что с немцами договорились,

— осторожно продолжал старец, — катакомбников им сдают...

— Будет вам, отец Уар! — легко сказал ершовский настоятель. — Какие здесь катакомбники! Если и скрывался кто при совдепии, так уж давно при немцах легализовались. И служат! — легко и запросто говорил отец Андрей как о чём-то таком, что и обсуждать не стоит. — Может, и остались где какие-нибудь проходимцы... может, красным прислуживают, партизанам записочки со свечками передают... — Отец Андрей поднялся со жгучим сожалением во взгляде. Поп не скрывал, что огорчён. Огорчён, что старец не разделяет его светлых упований. Не поднимая головы, вышел.

Старец с облегчением перевёл дух. Синенький с печи видел в окно, как крепкий поп с военной выправкой, будто придерживая рукой невидимую шашку, шёл к буро-жёлтым камышам, где его дожидалась лодка. Закатные тени деревьев наводили на Синенького тревогу. Лодка поплыла вдоль берега. Серёдка озера была ещё бронирована льдом. Синенький смотрел в окно, пока не затеплились на другом берегу огоньки в ершовских избах. Свет в окнах казался каким-то неестественным. На храме белели заплатки из светлого теса. Лес на другом берегу казался суровым.

(Окончание следует)



Ефим СОРОКИН

родился в 1961 г. в Пензе.

Православный священник.

За повесть «Марфа» запрещен в служении.

С 2001 г. служит от катакомбного епископа

в деревне Новая Кутля.

Автор книг:

«Енох», «Змеиный поцелуй», «Горемыки миленькие».

Печатал повести и рассказы

в журналах «Сура», «Странник».

Лауреат нескольких литературных премий,

среди которых премии А. Солженицына и М. Лермонтова.

Живет в Пензе.

